

ПАМЯТЬ — ЭТО ТЫ

роман

Альберт
Бертран
Бас



Альберт Бертран Бас

Память – это ты

«Фантом Пресс»

2021

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)

Бас А.

Память – это ты / А. Бас — «Фантом Пресс», 2021

ISBN 978-5-86471-922-0

Гомер – единственный ребенок в хорошей барселонской семье, он остался совершенно один в разгар гражданской войны в Испании. Его жизнь превратилась в борьбу – внутреннюю и внешнюю – за выживание, за то, чтобы остаться собой. Гомер отчаянно стремится разыскать своего отца. В этих поисках он встретит однажды Хлою, девушку с фермы, которая спасет ему жизнь. Они принадлежат к разным мирам, но их судьбы переплетутся еще дважды. Этот роман – удивительное путешествие по истории Испании, проделанное 15-летним мальчиком, его путь пересечется с такими историческими фигурами, как знаменитый фотограф Роберт Капа, Эрнест Хемингуэй, генерал Франко. В своем путешествии Гомер встретит любовь на всю жизнь, настоящую дружбу, совершит немало геройских и безрассудных поступков, путь ему будут указывать как обычные люди, так и загадочные призраки американских индейцев, пытающиеся вернуть похищенные реликвии. Приключенческий роман и роман взросления, историческая панорама и любовная история, вымысел и реальные факты – в романе Альберта Бертрана Баса соединилось очень многое.

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)

ISBN 978-5-86471-922-0

© Бас А., 2021

© ФАНТОМ Пресс, 2021

Содержание

1. Счастливое Рождество	7
2. Там, где умирает ветер	16
3. Пуля в Неруду	24
4. Возвращение	32
5. Мир, сострадание и прощение	43
6. Первые два метра	51
7. Эммет, ростовщик	60
8. Новый друг	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Альберт Бертран Бас

Память – это ты

LA MEMORIA ERES TÚ by ALBERT BERTRAN BAS

© 2021, Albert Bertran Bas

Книга издана при содействии Pontas Copyright Agency, S. L.

© Анна Уржумцева, перевод, 2022

© “Фантом Пресс”, издание, 2023

* * *

Имя мое – Гомер, и я потерял семью во время войны. В пятнадцать я пешком пересек Пиренеи, отправляясь в изгнание. Я вырос сиротой на улицах Барселоны и касался смерти в темницах “Уругвая”. Я пил с Хемингуэем, приветствовал Гитлера и занимался любовью в автомобиле Франко. Мне стреляли в спину, и мне стреляли в сердце. Я заставил притихнуть кабаре “Мельница”, меня целовала Прекрасная Дорита. Я сжимал нож Сидящего Быка. Я был там, где умирает ветер, и спал среди утерянных сокровищ. Однажды меня расстреляли. Я знал гениев и вдохновлял некоторых из них. Я пил допьяна, смеялся до слез, мечтал, воровал и убивал. И я влюблялся. Трижды. В одну и ту же женщину. Вот моя история. Вот моя одиссея.

1. Счастливое Рождество

Барселона, 24 декабря 1937 года

Тогда Рождество было не таким, как сейчас. Вокруг шла война, и начинались перебои с продуктами. Особенно в небогатых семьях. Мой отец был третьим сыном в семье, мужчины которой из поколения в поколение обрабатывали железо на небольшом заводе на окраине Манрезы. Его отец, мой дед, был известным мастером, и люди, знакомые с ним поближе, говорили, что он управляет с железом, как пекарь с тестом. Он придавал металлу тысячу форм и владел им совершенно, творя красоту из этого холодного и неподатливого материала. Он был настоящим художником. Еще сохранились кое-где в Барселоне и Манрезе скамейки, ворота и фонари с его инициалами. Самое известное его произведение, которое мой отец особенно любил, – великолепные ворота перед величественным театром “Курсааль” в Манрезе. На всех его творениях, если хорошо присмотреться, всегда можно найти в уголке две буквы: А. Б. – Антон Барет.

Мой отец никогда не ладил с семьей. Единственное, что у них с дедом было общего, – это имя, которое и я тоже был бы не прочь унаследовать. Без сомнения, “Антон” звучало бы лучше, чем “Гомер”. Но отец отличался от родни, клана умельцев-кузнецов, и норовил подчеркнуть это всеми способами, даже при выборе имени для меня. Отцу, например, никогда не нравилось “пачкать руки” – ни в каком смысле, говорила мать. Прежде всего, он был человеком образованным и честным. Отец преподавал историю и литературу в Университете Барселоны. Его всегда окружали книги, хотя нельзя сказать, что он был далек от реальности. Книги были его страстью, но не единственной; другой его страстью была семья.

После двадцати лет брака он был все еще без памяти влюблен в мою мать и всегда, когда это требовалось, находил время для меня. Поскольку я был единственным ребенком, такое случалось довольно часто. Он любил книги и музыку, и, полагаю, я унаследовал эту любовь от него. Он подтолкнул меня к игре на гитаре, и я попался в ловушку. Выяснилось, что для этого занятия необходимы постоянная практика и время, которым я не готов был жертвовать. По крайней мере, не в часы досуга, когда я предпочитал сбежать вниз на четыре этажа, отделявших меня от площади Адриано, рядом с улицей Мунтанé, и погонять мяч с соседскими мальчишками.

Полагаю, именно по этой причине меня записали на уроки игры на гитаре дважды в неделю, и по этой же причине я невлюбил свой инструмент. Кроме того, у меня плохо получалось. Гитара требовала определенного терпения и чуткости, которыми я в ту пору не обладал.

А вот читать я любил страстно. Все, что мне требовалось для чтения, – небольшой светильник у прикроватной тумбочки. Отец всегда читал, сидя в своем любимом зеленом бархатном кресле, меж огромных подлокотников которого он помещался идеально, как деталь часового механизма. Иногда я брал пуфик для ног и устраивался читать подле него. Шуршание перелистываемых страниц было привычным звуком в нашей гостиной. Книги стали моим убежищем, способом ускользнуть от всех, особенно в те дни, когда война уже выплескивалась на улицы и стучалась в двери.

Война... Сначала люди уверяли, что она продлится недели две, не больше, но даже по прошествии полутора лет конца ей не было видно. Мать называла горе-прорицателей “сантехниками”: “Эти тоже говорят, что починят за две недели, а ты потом несколько месяцев торчишь по шею в воде”.

Наша жизнь резко изменилась. Но мне не было страшно. В свои пятнадцать я еще не встречался с жизнью лицом к лицу и был слишком юн – или слишком глуп, – чтобы понимать, что такое страдания и смерть. Мои родители старались оградить меня от действительности, и главную войну я вел со скукой. На улицах, где настроения радикализировались, было опасно,

поэтому я в основном сидел дома. К счастью, отец, видя, как не хватает мне приятелей, познакомил меня с новым другом – Жюлем Верном.

Я проглотил все его книги, от “Путешествия к центру Земли” до “Пяти недель на воздушном шаре”, днем и ночью грезил о приключениях и жаждал познавать мир. Но более всего я мечтал познать самого себя. Я знал, что я не смельчак. Никогда им не был. Также я не был ни самым крутым парнем в классе, ни самым сильным, ни самым ловким, ни самым красивым. В свои пятнадцать я был погружен в вечные сомнения, не зная, кто я такой. Еще более меня тревожила мысль, что никто из моих друзей – я знал это – не задается подобными вопросами. Таков был я, таково было мое место в классификации. Не красавец, не умник, не силач... Я был чудак.

Я так и не понял – особенности характера привели меня к книгам или книги сформировали характер. В любом случае меня это не сильно заботило. Друзья у меня были, хотя и немного. И были книги – хотя и немного.

В то Рождество я был уверен, что смогу наконец прочитать единственную книгу Жюль Верна, которой не доставало на моей книжной полке, – “Двадцать тысяч лье под водой”. Почему-то этот роман не давался мне в руки, словно единорог. Я знал, что это одна из любимых книг отца, о чем он не уставал напоминать. Отчего же он не подарил мне ее раньше? Невозможно узнать. Таков был отец. Он просто поступал так или иначе, а я не задумывался о причинах. В конце концов, я знал, что ради меня родители способны на невозможное. Они постоянно это доказывали. По правде говоря, пока не случилось то, что случилось, я ни в чем не знал недостатка. Возможно, я получал даже больше, чем многие мои сверстники. Но, как я уже сказал, это было до тех пор, пока не случилось то, что случилось.

В тот вечер мать постаралась украсить стол, на котором ощущался недостаток всего, начиная с еды. Мы знали, как ей от этого тяжело, ведь она так любила готовить: часами жарила и парила вкуснейшие блюда, покачиваясь в ритме арий Пуччини, которые отец ставил на проигрывателе. Я до сих пор помню запах, которым пропитывался весь дом, и ее волшебный голос, поющий *O mio babbino caro*¹. Сеньора Пакиа с третьего этажа и сеньора Исидора с четвертого всегда открывали окна, выходящие во внутренний двор, чтобы ее послушать. Теперь, во времена дефицита, песни умолкли, а окна закрылись.

Уже несколько дней мы сидели без отопления и света, но у нас был камин, и огонь в нем горел круглые сутки. Печальный цветок в углу гостиной заменял рождественскую елку, а настоящая уже превратилась в пепел под углями. У нас закончились дрова, и мы начали топить мебелью. В огне исчезало все, кроме зимы. Абсолютно все.

Мы сидели за столом и, как велит традиция, в молчании смотрели друг на друга столько времени, сколько отец считал необходимым. Он всегда так делал. Он любил слова, но повторял, что лишь молчание по-настоящему невыносимо для лжи. Затем наступал черед вопросов. Можно было задать любой вопрос – при условии, что он интересный. Никаких “Как думаешь, пойдет завтра дождь или нет?”. Если вопрос был негодный, ты терял право голоса до конца ужина. В тот день, посидев в молчании, я задал вопрос, который давно уже вертелся у меня в голове:

– Папа... Кто из них хорошие?

По быстрому взгляду, которым обменялись родители, я понял, что они такого не ожидали, но у моего отца всегда и на все имелся ответ.

– На каждой стороне есть и хорошие люди, и плохие. Все не так просто.

– Но как мне тогда выбрать сторону?

– А не нужно выбирать.

– Почему?

¹ “Ах, папенька” (*ит.*) – ария из оперы “Джанни Скикки” Джакомо Пуччини. – *Здесь и далее примеч. перев.*

- Потому что ты еще маленький, – вмешалась мать, желая завершить этот разговор.
 - Но я хочу знать.
 - Хорошо... Когда ты играл в свои игрушки, – начал отец, – за кого ты был, за индейцев или за ковбоев?
 - За ковбоев.
 - Всегда?
 - Да.
 - Почему?
 - Потому что у них пистолеты. Индейцы не могут их победить.
 - То есть ты был за ковбоев, потому что знал, что они победят.
 - Да... – отвечал я уже не так уверенно, как прежде.
 - Ну вот большинство так и выбирает.
 - Но как тогда узнать, кто победит?
 - Этого нельзя узнать.
 - Мы с этого и начали! – воскликнул я раздосадованно.
- Отец забавлялся, видя, как я злюсь, и не торопился сдаваться. Он никогда не опускал руки, если дело касалось меня.
- Ты не спрашивал себя, что будет, если выбрать индейцев? Может, тогда получится сразиться на равных?
 - У ковбоев пистолеты, – настаивал я.
 - А у индейцев будешь ты, – улыбнулся отец.
- Несколько секунд я размышлял над этим, а отец постукивал по столу костяшками пальцев. Мог ли я изменить расстановку сил? Наверняка, но...
- Но зачем мне рисковать?
 - Вот истинная суть вопроса: зачем рисковать?
 - Это мой вопрос!
 - А если кто-то наставит пистолет на нашу маму?
 - Антон, ради бога! – укоризненно воскликнула мать, вставая и направляясь на кухню.
- Отец подмигнул мне и подождал, пока она уйдет.
- А у меня тоже есть пистолет?
 - Нет. Ты стоишь с голыми руками. Ты бы рискнул, чтобы спасти ее?
 - Да, – ответил я не задумываясь.
 - Почему? Твои шансы на победу ничтожны.
 - Потому... потому что это мама.
- Отец улыбнулся. Я готов был поклясться, что в его взгляде блеснула гордость.
- В таком случае ты выбираешь уже вне зависимости от того, каковы твои шансы на победу или поражение. Зачем ты тогда сражаешься?
- Он всегда так поступал со мной. Никогда не давал ответа, предоставляя мне найти его самостоятельно.
- Потому... потому что я защищаю то, что люблю, – сказал я убежденно.
- Я понял, что ответ верный, потому что отец удовлетворенно кивнул.
- Мать принесла еду, но отец хотел еще подытожить:
- Ты должен знать, что в жизни не все делится на черное и белое, хороших и плохих, индейцев и ковбоев. Мир полон оттенков. И умение видеть и понимать их возвышает нас, обогащает.
 - И помогает выбирать?
 - Да. Хотя лучше было бы, если бы нам не приходилось выбирать.
- Жидкий бульон стал нашей ежедневной пищей, но по случаю Рождества на сей раз в нем было чуть меньше воды и чуть больше всего остального. Настоящая роскошь. Еще годом ранее

я, скорее всего, объявил бы голодовку в знак протеста против такой еды. Но теперь все, что можно было отправить в рот, казалось даром богов. Кроме того, мама варила великолепный бульон. И даже в жидком варианте сохранялся тот особый вкус, который она умела придать ему.

– Веточка розмарина для моего сына.

И так рождалось волшебство. Ее волшебство. Я расправился со своей порцией в мгновение ока, и отец отдал мне то, что оставалось в его тарелке. Похоже, он перекусил на работе плотнее обычного и не хотел есть. Мать сделала ему замечание, но во взгляде ее была только нежность. Я доел отцовскую порцию так же быстро, как и свою, и встал, чтобы отнести тарелки на кухню.

Когда я вернулся, на столе напротив моего места лежал сверток, завернутый в газету. Я сел и взволнованно ощупал его.

– Книга!

Я разорвал обертку, клочья газеты полетели на мои старые ботинки. Нетерпеливый взгляд упал на первое слово: “Двадцать...” Сорвав наконец всю упаковку, я оторопел:

– Что это?

– Моя первая книга, – с гордостью сказал отец.

– Заметно... – ответил я, не в силах скрыть досаду.

Книга была обтрепана по краям, страницы высохли и пожелтели.

– Я знаю, что это не “Двадцать тысяч лье под водой”, но...

– Стихи? Серьезно? – с досадой перебил я.

Я слишком долго ждал своего последнего Жюль Верна и не сумел скрыть разочарование.

– Этому миру нужно больше поэзии, Гомер...

– Но мне нужен Жюль Верн, а не... Пабло Неруда. – Я небрежно уронил книгу на стол.

– “Двадцать стихотворений о любви и одна песнь отчаяния” – это та причина, по которой ты появился на свет, – улыбнулся отец.

Я с удивлением посмотрел на него, а он залился своим обычным смехом.

– Какое отношение ко мне имеет эта книга?

– С ее помощью я убедил твою маму поцеловать меня.

– За первый поцелуй благодари Беккера, дорогой. Это потом ты подключил Неруду.

– Ты уверена?

Мать подошла к отцу, устремив на него взгляд своих бирюзовых глаз.

– Что такое поэзия?² – спросила она игриво.

– Неужели не знаешь? Поэзия – это ты.

Они страстно поцеловались, совершенно забыв обо мне.

– Ты права, милая моя Аурора, – проронил отец, отстранившись на мгновение, – это был Беккер.

– Ладно, ладно. Ясно... – Я хотел, чтобы они прекратили нежничать.

– Поверь, эта книга защитит тебя.

– Защитит? От чего?

– От человеческой глупости.

Отец улыбнулся, глядя на мать. И взъерошил мне волосы, руке его более привычно писать мелом по доске, чем гладить меня.

В это мгновение кто-то постучал в дверь. Судя по тому, как отец с матерью переглянулись, это не предвещало ничего хорошего. Отец встал:

² Эта строка и следующая – цитаты из XX стихотворения сборника “Рифмы” испанского поэта-романтика Густаво Адольфо Беккера (1836–1870): “«Что такое поэзия?» – ты вопрошаешь, / голубые глаза твои детски чисты. / «Что такое поэзия? Неужели не знаешь? / Поэзия – это ты!»” – Пер. М. Квятковской, цит. по: “Аккордеон, на котором играет ангел”. Беккер, Густаво Адольфо. М.: Центр книги Рудомино, 2021.

– Кто там?

– Антон, это Матиас. Открой.

Сколько я себя помнил, Матиас то и дело заходил в гости. Я толком не знал, как они познакомились с отцом, но по его внешности и манере выразаться можно было понять, что работает он не в университете. Иногда он приносил мне подарок – как правило, самодельную игрушку. Он был мастер на все руки, и я его любил, хотя мама в последнее время посматривала на него с неудовольствием – вероятно, потому, что он стал заходить намного чаще и задерживаться дольше. Матиас тяжело дышал. Голова у него была перевязана бинтом с большим красным пятном с одной стороны, на уровне уха. Я вздрогнул, увидев кровь.

– Что случилось?

– Чепуха.

– Чепуха? Ты весь в крови. Ну заходи.

– Нет. Некогда.

– Что такое?

– Нам уже пора.

– Сейчас?

– Сейчас.

– Но ведь... – отец оглядел нас, прежде чем продолжить, – ведь сегодня Рождество.

– Черт, Антон. Думаешь, я не знаю? Я только что оставил жену и девочек у тестя с тещей.

– Вот черт. Но посмотри на себя, Матиас. Тебе нужно...

– Сегодня ночью.

Эти слова, вероятно, значили что-то важное, потому что отец – необычное дело – замолчал.

– Вот черт... Я сейчас.

Он торопливо натянул пальто, взял перчатки, подошел к маме и молча поцеловал ее. В их взглядах было что-то такое, чего я раньше не видел. Все было не так, как когда он прощался, уходя на работу.

Матиас ждал у двери. Кровавое пятно расплывалось и становилось темнее. На лице Матиаса читалось какое-то беспокойство. А может, раскаяние? Стыд? Страх? Боль? Я не знаю. Заметив, что я наблюдаю за ним, он улыбнулся, подмигнул и, наставив на меня палец, как пистолет, сделал вид, будто стреляет. Он всегда так делал, и я всегда смеялся. Но тут я был заморожен ярко-алым пятном. Кровь закапала на пол, самодельная повязка промокла насквозь. Я даже подумал, что, может, у него нет уха. Не заметно было ни выпуклости, ни очертаний.

– Антон, пожалуйста, не уходи так. Что происходит?

Мама говорила шепотом, но я слышал ее четко и ясно. Может быть, даже Матиас разобрал что-то, стоя у двери.

– Лучше тебе не знать, Аурора. Но если я не вернусь...

– Что ты такое говоришь! Почему ты не вернешься? Антон... Антон...

Отец подошел ко мне. Взял книгу Неруды, которая так и лежала на столе, и вручил мне.

– Береги эту книгу, ладно? – улыбнулся он.

– Ты уходишь?

– Нужно кое-что сделать.

– Что именно?

– С Рождеством, сынок. Береги маму...

Когда я открыл рот, чтобы сказать “До свидания”, они с Матиасом уже вышли на улицу.

Никогда я не забуду молчание, воцарившееся в доме, после того как дверь закрылась. Словно стены говорили, что ничего уже не будет так, как прежде. Ничего.

Отец не вернулся ни в ту ночь, ни в две следующие. Мать готова была ждать его вечно, но теперь она вынуждена была позаботиться обо мне. Из окна мы видели, как несколько человек ворвались в дом напротив и вытащили всю семью Серра, включая Ремедиос, мою ровесницу. Такое случалось все чаще. Говоря об этих людях, мать прибегала к аббревиатурам, которые я не мог расшифровать, хотя слышал их уже больше года: НКТ, ПОУМ, ВСТ, ОСПК, ФАИ³ и еще другие, которые я не запомнил. Как было их отличить? Да и была ли между ними разница?

Но разговоры – это одно, а видеть такое у себя прямо под окнами – совсем другое. По-видимому, накануне ночью соседи укрыли у себя нескольких священников. Сеньор Серра дал им одежду, чтобы они могли снять свои сутаны и попробовать скрыться. Всех вывели на улицу и расстреляли тут же. У той самой стены, где я играл с мячом.

Думаю, в тот момент я понял, что значит война. Но более всего меня поразило лицо матери. Ее ласковое выражение, мягкая улыбка... они исчезли навсегда. Мать как будто вдруг состарилась у меня на глазах. Уже с некоторых пор ее любезность стала несколько натянутой, а после случая с соседями она даже не пыталась притворяться. Возможно, она поняла, что не сможет спасти меня, просто ограждая от происходящего. А может, поняла, что надо бежать. За несколько минут она собрала немногие имевшиеся у нас ценности, и мы покинули наш дом и нашу жизнь. Я спросил ее, когда мы вернемся, но молчание уже стало ее любимым ответом.

Следующие дни были еще хуже. Аббревиатуры – неотличимые друг от друга – забрали то небольшое, что у нас было. В военное время у каждого была своя правда, и одна не лучше другой. Все прятались за названиями своих организаций, но на деле были просто бандитами с Дикого Запада. Законченные мерзавцы. Они врываются в дома, угрожая оружием, и забирали все что хотели – “именем революции”, разумеется. Мать твердила, что мы не фашисты, но поскольку у нас не было доказательств, это ничего не меняло. “Тогда почему вы убегаете?” – говорили ей. Им было все равно. Оставалось радоваться, что нас не убили.

Спустя неделю недалеко от Манрезы матери пришлось торговаться с какими-то солдатами и отдать им последние деньги, чтобы эти типчики не забрали меня в армию.

– Он еще ребенок, – умоляла мать.

По правде говоря, я был маловат ростом для своего возраста, но если мог держать в руках винтовку, то мой долг был воевать против мятежников⁴. Какое отношение имела ко мне эта проклятая война? Я даже не понимал ее причины. Хотя иногда чем меньше понимаешь, тем проще повиноваться.

Без денег мы не могли купить даже одного билета на поезд, так что шли пешком. Шли долго, много дней, с трудом держась на ногах. Мало кого в то время заботила чужая судьба, но в некоторых людях еще теплилось сочувствие. Мы спали во встречавшихся на пути деревнях, а где-то таким, как мы, все бросившим, позволяли переночевать на складе или в спортивном зале.

В Риполе нас на несколько дней бескорыстно приютила семья фермеров. У них была очень умная собака по кличке Султан. Мне всегда хотелось собаку, но родители не разрешали. То были хорошие дни, я даже нашел лохматого друга и почти забыл царившую вокруг разруху. Проявленная к нам доброта могла бы вселить в меня надежду, но я был так напуган и растерян, что надежда не пустила во мне корни.

Отдохнув неделю у семьи Жунент в Риполе, мы продолжили путь в изгнание. Франция была нашей целью. Оставалось немного, но в соседних деревнях говорили, что в горах идет отчаянная борьба за контроль над границей. Нам пришлось изменить маршрут и покинуть

³ Национальная конфедерация труда, Объединенная рабочая марксистская партия (ПОУМ – транслитерация испанской аббревиатуры), Всеобщий союз трудящихся, Объединенная социалистическая партия Каталонии, Федерация анархистов Иберии.

⁴ Имеются в виду сторонники Ф. Франко в испанской Гражданской войне (1936–1939).

провинцию Жирона, чтобы попытаться счастья в Лейде⁵. Мы дали огромный крюк, намереваясь пересечь долину Валь-д'Аран, перейти Пиренеи и таким образом оказаться во французских владениях. Это решение стало для меня судьбоносным.

Две недели понадобилось нам, чтобы увидеть Пиренеи прямо перед собой. А если бы не Хустино и его фургончик-развалюха, вышло бы и того больше. Он подобрал нас на дороге. Хустино был священником и ехал в Сулзону, чтобы отслужить заупокойную мессу по погибшим. Но так и не доехал. Через несколько километров нас остановили на эстакаде четверо красных солдат, им было лет по двадцать. На нас с матерью они не обратили внимания, но над беднягой Хустино поглумились от души. Не знаю, что творилось с этими людьми при виде священников. Можно подумать, он попал в шуты к дьяволу, так над ним издевались. Его раздели донага, били, унижали и оскорбляли...

К этому времени мы стали совсем другими, чем в начале пути. Мы слишком многое повидали и знали: если откроем рот, нас расстреляют вместе с Хустино. Мы с матерью молча стояли у фургона, выжидая момент, чтобы незаметно скрыться в лесу, пока солдаты, пьяные и разнузданные, продолжали измываться над беднягой. Они так увлеклись, что не заметили, как мы сбежали. Не уверен, что хоть один из них потом вспомнил, что вообще нас видел.

Если я что и понял за эти несколько недель, так это то, что самые жестокие войны ведутся в человеческой душе. У нас внутри – затопленные грязью траншеи, годные лишь на то, чтобы спрятаться от самих себя. От тех, кем мы были однажды и кем никогда больше не будем.

Мы бросили в беде хорошего человека, зная, что его убьют. Тяжело было жить с этой мыслью. Особенно мне в мои пятнадцать. Я ссорился с матерью из-за того, что она принимала такие решения за нас обоих. Но она была уже не той любезной и веселой сеньорой, что распевала арии на кухне. Сейчас ее заботило лишь наше выживание. А я был так наивен, что спорил с ней.

Через несколько дней мы взбирались по заснеженному склону в компании пятнадцати человек, искавших той же судьбы, шедших в землю обетованную – во Францию. Она была уже рядом. Я потерял счет горам, по которым поднялся и спустился. Холод был лютый и пронизывал до костей.

Мои изорванные ботинки проваливались в снег. Они не были рассчитаны на такие походы. Наш попутчик Хулиан, человек опытный, научил меня подвязывать их лоскутами ткани и набивать газетой, чтобы держать ноги в тепле.

Мать выглядела плохо. Она слабела. Ее сухой кашель, тревоживший меня все больше, сопровождал нашу экспедицию с раннего утра до позднего вечера. Оба мы блекли, теряли в весе, теряли силы. Но мать, кроме того, теряла еще и надежду.

Мы шагали медленно и трудно, ноги повиновались нам скорее по инерции. Никто не решался глянуть вверх, опасаясь упасть. Склон был крут. Из-за ветра, сильного и постоянного в этих краях, мы брели, закрыв лица, по колено проваливаясь в девственный снег. Мануэль, ровесник отца, оставивший семью в надежном месте и вынужденный бежать сам, отдал мне свое пальто и помог надеть: у меня руки заоченели так, что сам я не мог даже снять свой школьный ранец. Я был бы счастлив сказать Мануэлю: “Что вы, не нужно”, но я умирал от холода.

Когда я надел ранец поверх своего нового пальто, мы услышали вдалеке шум, прорезавший тишину, и подняли головы. Какое-то жужжание перекрыло свист ветра. Фью-ю-ю. Потом звук раздался снова, и Мануэль рухнул к моим ногам, окрашивая снег красным. Я застыл на месте. Прежде чем мы успели что-либо сообразить, раздался новый выстрел, затем еще один. Группа рассыпалась, люди с криками заматались из стороны в сторону, а невидимый враг пока-

⁵ Испанские варианты названий провинций: Херона, Лерида.

зался наконец из-за деревьев. Мать схватила меня за плечо. В ее глазах снова загорелся огонь, чего я давно уже не видел.

– Беги! – Она пихнула меня, как тряпичную куклу, и мы побежали прочь от выстрелов, наперерез ветру. – Беги, Гомер! Не оглядывайся! Беги! – кричала она, раскинув руки, закрывая меня своим телом.

И я бежал, бежал. Не останавливаясь и не оглядываясь назад, несмотря на неумолкавшие выстрелы. Но вдруг что-то меня встревожило. Я перестал слышать за спиной шаги матери, ее прерывистое дыхание. Я обернулся, напуганный уже не стрельбой, а тем, что впервые в жизни остался один.

Взглядом я проследил свои следы, пока не увидел мать, неподвижно лежащую ничком на снегу. Я подбежал к ней. Она не шевелилась, не кашляла, не дышала. Пуля угодила ей прямо в спину. И все же я попытался привести ее в чувство, хотя это было бессмысленно. Мать ушла навсегда, и я хотел только сидеть подле нее, пока меня не найдут. А что мне оставалось? Я не мог бросить ее там. Выстрелы не утихали, и одной из мишеней, очевидно, был я, потому что пули взрывали снег совсем рядом. Если я еще жив, то потому, что в тот день был безоружен; в моей голове пульсировала лишь жажда мести. Я хотел убить их всех.

Группа беженцев, с которой я шел, была рассеяна, остались только розовые пятна на снегу. Я знал, что нужно бежать, спастись. Она хотела этого. Еще одна пуля попала в мать, ее кровь забрызгала мне лицо. Тело матери оставалось при этом ужасающе неподвижным. Это вывело меня из оцепенения: я понял, что мать уже не поможет, я остался один. Один... Один... Что было делать? Я никогда раньше не принимал никаких решений. Не выбирал даже, что мне надеть. И вдруг моя судьба стала зависеть только от меня. От меня и от своры собак, только что спущенных, чтобы поймать меня, словно кролика.

Я бросился бежать со всех ног. Снег мешал мне, но он же тормозил и моих преследователей.

Паника пробудила во мне каждый мускул. А те мышцы, что еще дремали, пробуждались от лая собак. Собак я боялся больше, чем пуль. Если погибнуть, то лучше от пули, чем от острых клыков. Лай раздавался все ближе, а я совсем выдохся. В это мгновение желание мое исполнилось: я почувствовал, как пуля ударила в спину с такой силой, что я ничком рухнул на землю.

Я умер. Я представил себе, что лежу на снегу так же, как мать, но боли не почувствовал. Значит, умирать не больно? Я был рад этому обстоятельству. А может, холод или адреналин заглушили предсмертные муки. Я уже видел такое у некоторых расстрелянных. Если это конец, я не сдамся так просто. Инстинктивно я погрузил руки в снег, оперся на них, поднялся и побежал дальше, понимая, что могу упасть в любой момент. Но я убежал дальше и дальше и по-прежнему не чувствовал боли.

Мне удалось добраться до опушки леса, где пули уже не свистели в воздухе, а впивались в стволы, разбивая кору в мелкие щепы. Подлесок становился все гуще, и ветви кустарника, холодные и острые, царапали до крови. Ветер завывал среди деревьев, заглушая мою одышку, хотя она постепенно успокаивалась, как и лай гнавшихся за мной собак. Кажется, получилось! Я почти убежал!

Едва забрезжил тонкий лучик надежды, как я запутался в зарослях. Не мог ступить и шагу! Я рванул было, но ранец зацепился намертво, не освободиться. Я едва мог повернуться. Лай слышался ближе, будто собаки догадались, что я снова оказался в их власти, а я яростно бился и рвался на волю. Вдруг меня осенило: я расстегнул пальто, стащил его с себя и бросил висеть на ветвях вместе с ранцем. Снова свободен! Проклятые собаки почти нагнали меня.

Я бросился бежать, падая и вставая, с тоской ожидая мгновения, когда враг набросится на меня. Так и случилось. Пробежав еще несколько метров, я почувствовал, как челюсти сомкну-

лись на моей лодыжке. Это было не так больно, как я боялся, но я знал, что если упаду, то пропал, так что я пинался и изворачивался, пока собачьи зубы не соскользнули вместе с маленьким куском моей кожи. Вот это было правда больно. Упрямое животное не оставляло меня в покое и в конце концов ухватило за штанину. Я пнул собаку как мог, на удивление непрочная ткань брюк порвалась, и я снова оказался на свободе. Еще пара секунд – и на меня набросится другая собака. На бегу я то и дело оборачивался и с ужасом видел, что ее клыки все ближе, пока вдруг неведомым образом не перестал чувствовать под ногами землю. Я не споткнулся, просто земля как будто исчезла.

Думаю, я не понял, что лечу вниз, пока не стукнулся об отвесные скалы, прежде чем приземлиться плашмя на снег. Я упал на крутой склон и неудержимо покатился вниз по косогору; казалось, моему падению не будет конца. Я ударялся обо все, что попадалось на пути. Снег, земля, камни, деревья мелькали вокруг, пока наконец я не врезался ребрами в мощный ствол, разом остановивший мое движение. Я испустил истошный вопль, и на этом все кончилось. Лишь далекий лай собак еще висел в воздухе. Как бы им ни хотелось отведать моего мяса, они не готовы были броситься за мной в пропасть.

Затем все покрылось мраком...

2. Там, где умирает ветер

Я проснулся в снегу. Замерзший и оцепеневший. Когда я попытался пошевелиться, каждый сантиметр тела отозвался болью. Я лежал навзничь, глядя на кручу, с которой сорвался, и не верил своим глазам. Я чудом остался жив, хотя если не убраться поскорее, то ненадолго.

Я пытался сообразить, что мне делать; ледяной ветер хлестал меня по лицу. Начинало темнеть, и я знал, что лежать неподвижно – это верная смерть. Постепенно я оценил свое состояние: переломанное колено, ссадины и ушибы по всему телу, резкая боль в груди и странный присвист при каждом вдохе. Мне оставалось одно – ползти по снегу, как пресмыкающееся.

Не знаю, сколько я прополз, но вскоре пришлось остановиться. Я выбился из сил. Осмотревшись, я заметил расселину в той скале, с которой упал. Со стонами я добрался до нее и обнаружил, что это не просто углубление, а незаметный лаз, возникший под действием эрозии. Я стал протискиваться внутрь и вскоре почувствовал под собой уже не снег, а холодную землю. Это было приятно. Лаз постепенно сужался, но я продолжал ползти. Я чувствовал себя в кроличьей норе.

Наконец, когда проход сузился так, что дальше, казалось, не протиснуться, стены вдруг расступились, и я оказался в просторной пещере с песчаным полом.

Похоже было, что это круглое помещение с единственным входом, хотя уже смеркалось и проникавшего внутрь света было недостаточно, чтобы хорошенько осмотреться. Моему телу довольно было того, что я укрылся от ледяного ветра, и оно благодарно вздрогнуло.

Привыкнув к полумраку, я не поверил своим глазам. Неужели я забрался в чье-то тайное убежище? По крайней мере, об этом говорила грудка вещей, сваленных у стены с одной стороны. Где я оказался?

Меньше чем в двух метрах от меня соломенная циновка и несколько одеял манили лечь и забыться. Я был изнурен, так что свернулся клубком и накрылся всеми одеялами, какие нащупал, в то время как тело мое еще била дрожь, а разум стремительно погружался в долгожданный сон.

Я проснулся, не зная, сколько времени проспал, был растерян, но чувствовал себя живым. В последнем я убедился, ощутив холод прижатого к моему лбу ружейного ствола. По ту сторону оружия я встретил вызывающий взгляд зеленых глаз, смотревших на меня не моргая. Все прочее было скрыто огромным шарфом, шапкой-ушанкой и несколькими слоями одежды.

– Ты кто? Что ты здесь забыл?

По голосу я понял две вещи: передо мной женщина, и она совсем не рада меня видеть. От слабости я едва мог вымолвить свое имя:

– Я... Гомер.

– Гомер? У нас так свинью зовут. А зачем в хозяйстве две свиньи с одинаковыми именами, правда?

Что я мог ответить? Я закашлялся, и кашель отозвался болью во всем теле.

– Где я?

– Там, где тебя не должно быть.

– Я три дня шел пешком и ничего не ел, я...

– Ты хотел обокрасть меня.

Я собрался решительно отвергнуть обвинения, но закашлялся снова и не сумел сказать ничего путного.

– Если ты водишь меня за нос...

Силы оставили меня, и я снова потерял сознание.

Она легонько ткнула меня стволом. Увидев, что я не реагирую, подкрутила газовую лампу, которую принесла с собой, и обнаружила, что с одного бока я истекаю кровью. Прислонила винтовку к стене и сняла перчатку. Склонившись, положила мне руку на лоб и поцокала языком. Выпрямилась и, нахмурившись, посмотрела на меня одновременно растерянно и с любопытством.

Когда я пришел в себя, мне пригрезилось, что я лежу в собственной теплой постели под толстым одеялом, но очень скоро осознал, насколько это видение далеко от печальной действительности. Я по-прежнему был в пещере. Небольшая газовая лампа отбрасывала круг слабого света. Все тело страшно болело, и я приподнял одеяло, желая убедиться, что я цел.

Вместо старой и драной одежды на мне было нечто гораздо большего размера, более удобное и намного более теплое. Туловище было перебинтовано чуть ниже ребер, а несколько деревяшек фиксировали ногу так, что она не сгибалась. Порезы и раны на лице и на теле оказались промыты, на некоторых уже образовались корки. Сколько времени провел я там?

Рядом с лампой я увидел каравай хлеба и немного колбасы. Я с трудом дотянулся до них и стал жадно есть. Челюсти ныли, еда царапала горло, но меня это не волновало. Я так проголодался, что проглотил бы все не жуя.

Пещера была больше, чем показалось на первый взгляд. Она изгибалась полумесяцем, и с противоположной, дальней от меня стороны по-прежнему громоздились какие-то предметы. Я сделал свет в лампе ярче и постепенно различил среди них знакомые очертания: шляпы, каски, одежду, плюшевых мишек, игрушки, ранцы, книги, сапоги, оружие, какие-то бумаги...

– Добро пожаловать туда, где умирает ветер.

На фоне входного проема вырисовывался внушительный силуэт с винтовкой за спиной.

– Кто ты? – спросил я, не в силах унять дрожь в голосе.

Силуэт двинулся ко мне, по дороге высвобождаясь из пальто, шарфа, шапки... По мере приближения он светлел и уменьшался в размерах. Когда он оказался совсем близко, я оторопел, увидев перед собой девушку приблизительно моих лет.

– Я Хлоя.

– Хлоя... – пробормотал я еле слышно, – а я...

– Гомер, – сообщила она, садясь рядом и отвинчивая крышку термоса, отчего по пещере поплыл запах крепкого бульона. – Мы с тобой уже познакомились.

– Уже?

– Даже три, а то и четыре раза. Надеюсь, это последний, – сказала она со скучной миной.

– Э... прости.

– Ты бредил в лихорадке. – Хлоя коснулась рукой моего лба. – Температура снижается, – заключила она равнодушно.

Глаза у нее были огромные, взгляд повелительный. Она смотрела прямо, как смотрят животные, что было невыносимо и могло бы смирить даже величайшего из смертных. Кожа ее была бледной, снежного цвета, хотя щеки разругались от солнца. Волосы жили своей жизнью и длинными спутанными прядями падали на спину. Она была красива первозданной красотой девственного леса.

– Сколько я уже здесь?

– Чуть больше недели.

Она перелила наконец бульон из термоса в латунную кружку. Проглотив первую протянутую мне ложку бульона, я почувствовал вкус прошлого. Дрожь пробежала по телу, я готов был расплакаться как ребенок.

– Что такое? Горячо?

– Нет...

– Невкусно? Тем хуже для тебя, я не собираюсь больше ничего готовить.

– Нет, очень вкусно. Просто... я кое-кого вспомнил. Вот и все.

– Кого ты вспомнил? – Она говорила без обиняков, нетерпеливо спрашивала обо всем, что приходило в голову. И не слишком доброжелательно, словно раздражаясь, что не все понимает.

– Маму. – У меня на глаза навернулись слезы. Я снова увидел ее на снегу. Снова услышал, как пуля входит в неподвижное тело.

– Она умерла?

Да уж, Хлою нельзя было назвать деликатной. Как будто она представления не имела, что такое чувства. Я кивнул, стараясь не разрыдаться в ее присутствии.

– Ее убили выстрелом в спину.

– Понятно. Тебе надо поесть. Станет получше. Ты везунчик, знаешь? Я бы и курицы не дала за твою жизнь.

Хлоя потихоньку кормила меня бульоном, стараясь не пролить ни капли, а я изучал ее лицо. Время от времени я переводил взгляд на гору вещей, сложенных в другом конце пещеры.

– Это мои сокровища, – произнесла Хлоя грозно, словно читая мои мысли.

– Сокровища?

– Они никогда не могут унести все, что набирают с собой.

– Унести? Кто?

– Люди. Они недооценивают горы. Я так понимаю, ты тоже шел во Францию?

Я кивнул, сердце мое сжалось.

– Сейчас тут таких много.

– Почему это место называется *где умирает ветер*? – Вспоминать прошлое было мучительно, я хотел сменить тему.

– Потому что здесь умирает ветер, – ответила она, глядя на меня так, будто это я ненормальный.

– Ты одна здесь живешь?

Впервые моя спасительница улыбнулась, вопрос позабавил ее.

– Я живу с отцом в долине. У нас своя ферма: двадцать три овцы, две свиньи и двенадцать куриц. А ты откуда?

– Из Барселоны.

– Из города? Серьезно? И как там? Был в кино? А в театре?

Я кивнул, немного успокоившись: несмотря на жесткий взгляд, внутри нее жила маленькая девочка.

– Сколько тебе лет? – спросил я прямо.

– Шестнадцать, а тебе?

– Тоже, – соврал я. – Не рановато ли тебе ходить с этой штукой? – я указал на стоявшую у стены винтовку.

Хлоя подошла к ней и ловко подхватила, хотя та была почти с нее ростом. Направила ствол на меня и прицелилась.

– Это не штука. Это винтовка Мосина-Нагана, – отчеканила она гордо и обиженно. – Дедушкина. Я научилась стрелять в шесть лет. Отец твердит, что у меня талант, хотя иногда мне кажется, он так говорит только затем, чтобы я добыла кролика на ужин. Ты умеешь стрелять?

– Нет. Родители предпочли, чтобы я научился играть на гитаре.

Хлоя рассмеялась. Она пристально разглядывала меня, словно пыталась увидеть насквозь.

– Подожди. – Она отставила винтовку, подошла к куче вещей, покопалась немного и вернулась ко мне с гитарой в руке: – Нашла три месяца назад на южном склоне. Не знаю, можно ли на ней играть, но ты не скоро еще сможешь вставать и ходить, так что...

Мне ничего не оставалось, кроме как взять гитару. Бедняжка выглядела совсем плохо, но ей предстояло спеть еще немало песен. Я попробовал пару аккордов, припоминая свою прошлую жизнь, которая казалась теперь такой далекой. Подняв глаза, я увидел, что Хлоя снова закуталась до бровей и прихватила винтовку.

– Ты уходишь? – Я расстроился.

– Мне пора, а то отец что-нибудь заподозрит.

– Ты ничего ему не сказала?

– Если бы сказала, тебя бы тут уже не было, а меня бы наказали. А я этого не люблю.

Хлоя заметила мою растерянность и нетерпеливо фыркнула:

– Он не любит людей. Особенно таких, от которых одни проблемы.

– А если он придет сюда?

– Никто не знает об этой пещере, потому что никто не знает, где умирает ветер. Даже он, – объявила Хлоя, поворачиваясь к выходу.

– Когда ты вернешься?

– Не знаю. Постараюсь завтра или послезавтра. Ты пока лежи, тебе нужен покой. И не делай глупостей, не трогай мои вещи, – пригрозила она.

Прежде чем я успел ответить, дикарка уже покинула свое убежище.

Я осторожно погладил гитару. Взял несколько аккордов и понял, что она расстроена. В груди словно ком встал. Что-то рвалось наружу. Оставшись один, я перестал сдерживаться и отдался чувствам. Всю ночь напролет я рыдал, как пятнадцатилетний мальчишка, каким я и был.

Дни слагались в недели и проходили, отмеченные палочками, которые я чертил на стене пещеры, и кошмарами, еженощно напоминавшими мне о смерти матери. Потом боль и страх притупились и наступила скука.

Я всегда был очень деятельным и с трудом выносил праздность. Хлоя заходила ко мне время от времени, но каждый раз ненадолго. Она приносила еду и питье и вскоре уходила.

Старая гитара стала моей лучшей подругой. Она была расстроена, как вся моя прошлая жизнь, и поначалу каждый аккорд причинял мне боль. От холода и отсутствия привычки подушечки пальцев покрылись ранами, но постепенно кожа огрубела. Я играл целыми днями. Какие-то песни я припоминал, какие-то сочинял сам, но чаще брал случайные ноты, спонтанные аккорды, просто чтобы развеять тишину, не думать о том, что я остался на свете один-одинешенек.

Спустя несколько недель я начал потихоньку передвигаться. Боль в теле почти утихла, дышалось легче. Нога была по-прежнему зажата деревяшками, но если мне удастся встать, опершись о шершавую стену, я смогу добраться до другого края пещеры. Что таит эта груда вещей? Найдутся ли в ней настоящие сокровища?

Я добрался, хоть и не без труда, и с восторгом обнаружил, что вещей намного больше, чем я думал. Они были свалены как попало, вперемешку, без разбора. Я с беспокойством отметил солдатскую одежду и амуницию: каски, ботинки, кобуры, полные комплекты военной формы. Но тут же мое внимание привлекли сложенные чуть поодаль от основной груды штабеля книг.

Я подошел ближе и убедился, что книги – это единственное, что сложено в очевидном порядке. Они были рассортированы не по алфавиту, не по авторам и не по жанрам, а по цвету обложки. Штук двести или больше. Я пробежал стопки взглядом, читая названия, пока не увидел одно. Взмолнованно улыбнулся, не веря своим глазам. Я нашел своего единорога. В пещере, затерянной среди гор. Мой смех отозвался эхом от каменных стен. Самому было удивительно: сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз смеялся? Моя жизнь превратилась черт знает во что. Я заслужил что-нибудь хорошее, пусть самый нелепый пустяк. И вот он в моих руках. Я выдохнул и прочитал: “Двадцать тысяч лье под водой”.

Вернуться в свой угол было проще. Я калачиком свернулся под одеялами, придвинул газовую лампу и с волнением открыл книгу. Наконец-то. Прощай, скука.

Меня разбудил деревянный стук. На пол посыпались дрова, которые Хлоя набрала для костра. Судя по свету, проникавшему сквозь входной проем, наступил день.

– Я не слышал, как ты вошла, – сказал я, зевая.

– Я притащила дрова. Похолодало.

Жюль Верн лежал рядом с гитарой. Без сомнения, Хлоя уже заметила его.

– Кстати... Я взял книгу из твоей... библиотеки.

– Хорошо, – сухо ответила она.

– “Двадцать тысяч лье под водой”... Читала?

– Нет. Я же велела тебе лежать смирно. – Хлоя повернулась ко мне спиной и принялась раскладывать костер.

– Да, знаю, но я увидел книги и... Любишь Жюль Верна?

Хлоя молчала. Казалось, она раздражена или сердится.

– Читала “Путешествие к центру Земли”?

– Нет.

– А “От Земли до Луны”? “Дети капитана Гранта”? “Таинственный остров”? “Пять недель на...”?

– Нет! Ничего я не читала, ясно? – Хлоя отодвинулась от подготовленных дров, но костер так и не разожгла.

– Ясно. Прости. Просто они так аккуратно тут сложены. А почему ты их распределила по цвету? Я не... Просто я думал, что...

– Что ты думал? – Хлоя подошла ближе, покраснев и сжав зубы. – Думал, я как твои городские? Умею играть на гитаре? И читать и писать? Думал, я умная?

– Нет... Чтобы уметь читать, ума не надо.

– Вот это мне повезло! Даже обезьяну можно научить, да?

– Я не это хотел сказать.

– А сказал именно это!

– Я имел в виду... – я тщательно подбираю слова, – мне показалось, ты любишь книги, и если хочешь...

Хлоя так рассердилась, что я занервничал и даже огляделся, желая убедиться, что у нее под рукой нет винтовки.

– Если я хочу что?

– Ну то есть... я мог бы... научить тебя читать.

Хлоя посмотрела на меня с вызовом. Эта девушка настолько сбивала меня с толку, что я не знал, пристрелит она меня сейчас или поблагодарит.

– С чего бы это?

– Ну... – я развел руками, – а что мне еще делать. Сижу тут один и скучаю. А еще я твой должник.

Казалось, дикий зверь немного присмирел, хотя огромные зеленые глаза Хлои все еще смотрели недоверчиво.

– Если ты станешь смеяться...

– Не стану.

– Тем лучше для тебя, потому что я стреляю без промаха.

– Договорились. – Я слегка подвинулся. – Начнем?

Мы читали целыми днями. Я был уверен, что Хлоя давно уже мечтала узнать, что скрывается под обложками. Судя по всему, в детстве мать читала ей, и теперь Хлоя не могла бросить

найденные книги. Она подбирала их, потому что мать поступила бы так же, и тем воздавала дань ее памяти. Может, это глупо, но мысль о том, что моя новая знакомая тоже потеряла мать, ободряла меня. Думаю, я чувствовал, насколько Хлоя по ней тоскует, и в то же время видел, что она переносит горе стойко.

С тех пор как начались уроки чтения, Хлоя проводила в пещере намного больше времени, и я превратился в своего рода раба-библиотекаря, обязанного обучать ее без устали. Мы оба влюбились... в “Двадцать тысяч лье под водой”. Влюбились настолько, что Хлоя по ночам сбегала из дома в пещеру, замороженная фантазией Жюль Верна. Она будила меня и заставляла читать.

Хлоя всегда держалась на расстоянии, но мне было все равно. Я был счастлив, что кто-то помогает мне заполнить пустоту. Составляет компанию. Так что я читал и читал под взглядом ее зеленых глаз, устремленных на меня с другого конца пещеры. Постепенно она стала подходить ближе. С каждым днем дистанция немного сокращалась. Наконец мы сидели над книгой плечом к плечу. Я читал, а она переворачивала страницы. Так у нас повелось.

– Мне нравится слушать, как ты читаешь. – Хлоя произнесла это просто, не как комплимент или лесть.

– Спасибо.

– Знаешь, чего мне хотелось бы? – спросила она задумчиво.

– Нет...

– Мне хотелось бы познакомиться с капитаном Немо.

– А мне – с гарпунщиком Недом Лендом, – улыбнулся я.

– Увидеть китов...

– Китов? Я хотел бы увидеть “Наутилус”!

– “Наутилус”? Нет, море! – воскликнула она страстно.

– Ты не видела моря?

Хлоя молча покачала головой, занятая этой мыслью. Но я задумался еще больше, потому что никогда раньше не встречал таких людей. Если живешь в приморском городе, трудно вообразить себе, что кто-то никогда не видел моря. Так же трудно, как представить себе, что кто-то никогда не видел неба.

– Когда-нибудь я покажу тебе море, – твердо проговорил я.

– Правда? – Ее глаза блеснули, и я утонул в них.

Видимо, я настолько ошалел, что Хлоя почувствовала себя неловко и потребовала читать дальше. Я смущенно повиновался и погрузился в книгу, страницы порхали под пальцами Хлои.

Газовая лампа начала мигать, но я продолжал читать, мой голос разносился среди каменных стен. Прошло несколько часов.

– “Вопрос – поверят ли мне люди? В конце концов это неважно. Я твердо могу сказать одно, что теперь имею право говорить о тех морских глубинах, где, менее чем в десять месяцев, я проплыл двадцать тысяч лье и совершил кругосветное путешествие, которое открыло мне такое множество чудес – в Индийском и Тихом океане, в Красном и Средиземном море, в Атлантике и в южных и в северных морях!”⁶

Я на секунду остановился. Хлоя крепко спала, положив голову мне на плечо. Деятельная, дерзкая, непокорная девушка, одиночка с лесной фермы, не выпускающая из рук винтовку, мирно спала. Она засыпала уже не в первый раз, и это была лучшая часть дня. Я мог смотреть на нее вволю. Отложив книгу и призвав всю свою смелость, я осторожно убрал русые пряди, в беспорядке падавшие ей на лицо. Я никогда не был храбрецом, но всю жизнь компенсировал это неумеренным любопытством. Хлоя была так необыкновенно красива... Каждая

⁶ Фрагмент последней главы романа Ж. Верна “Двадцать тысяч лье под водой” цит. по: Жюль Верн. Собрание сочинение в 10 т. Том 3. М.: ОКО, 1991.

черта совершенна и неповторима. Она была прекрасна: волосы падали на спину, открыв лицо, а щеки размяклились во сне. Я словно видел перед собой женщину, в которую она однажды превратится. Я не понимал, что со мной. Не мог отвести от нее глаз. Сердце колотилось, будто я только что пешком взобрался на гору. Вскоре я пойму, что, пережив эти мгновения, никогда уже не смогу смотреть на нее по-прежнему.

– Ты чего тут? – вдруг очнулась Хлоя.

– А? – отозвался я растерянно, взволнованно, испуганно...

Она недовольно встрепенулась, а я отчаянно искал хоть сколько-нибудь приемлемый ответ.

– Почему ты бросил читать?

– Я... я устал.

– А почему так на меня смотрел?

– Так... как?

– Будто... не знаю... будто съесть меня хочешь.

Я нервно рассмеялся и не знал, куда девать глаза, пока не наткнулся взглядом на предмет, который давно уже заприметил и про который никогда не спрашивал.

– Я смотрел не на тебя. Я смотрел... на твою подвеску, – ткнул я пальцем. – Красивая.

– Спасибо, – недоверчиво ответила Хлоя.

– Это подарок?

– Нет.

– Одно из твоих сокровищ...

– Нет, не “одно из...”. Это просто сокровище. Самое главное. – Хлоя сняла подвеску и повертела в пальцах.

Это была чужеземная золотая монета, покрытая непонятными символами. Я никогда раньше не видел ничего подобного.

– Где ты ее нашла?

– Здесь. В пещере.

– Здесь?

– Да, она была у него на шее.

– Что, прости? У кого на шее?

– У человека, который тут был.

– Здесь кто-то жил?

– Нет, мертвый. Правда, я не уверена, мужчина или женщина. Но, судя по размеру, скорее всего, мужчина.

– Тут был скелет? – Я терпеть не мог этой ее манеры, будто она вынуждена объяснять элементарный рецепт, притом что все ингредиенты на столе.

– Ну да. Когда я нашла пещеру, тут было пусто, только скелет с медальоном. Я подумала, ему он уже не нужен. Скелет убрала, а медальон взяла себе.

– Кто же это был?

Хлоя только пожала плечами.

– И больше ничего? Может, какие-нибудь документы? Письма? Какая-то подсказка?

– Нет, – сказала она не слишком уверенно.

– Наверняка за этим медальоном кроется целая история...

– За медальоном? – Хлоя перевернула его в пальцах, а я расхохотался.

Она бросила на меня недовольный взгляд. Хлоя не выносила насмешек, так что я постарался поскорее взять себя в руки.

– Я хочу сказать, что наверняка это вещь с историей.

– Думаешь?

– Уверен. У всего есть прошлое.

– И что это за прошлое, как ты думаешь?

– Не знаю. Я никогда не видел таких значков. Похоже... похоже, это надпись на каком-то языке. Наверняка у них есть смысл.

– Например?

– Может, они указывают на тайник с сокровищами! – Я разволновался. – Может, это координаты таинственного острова...

– Ну конечно. Ты прав, Жюль Верн. – Хлоя, смеясь, снова надела подвеску.

И тут уже я почувствовал себя задетым.

3. Пуля в Неруду

С каждым днем я ходил все больше и все увереннее. А Хлоя все больше и все увереннее читала. В первый раз я вышел из пещеры в конце февраля 1938 года. Больше двух месяцев прошло с тех пор, как я, полумертвый, вполз в эту расселину. Было ясное утро, на небе ни облачка, и я подставил бледное лицо солнцу. Помню, Хлоя отвела меня к огромному валуну. Камень нагрелся на солнце, я разделся до пояса и вытянулся на нем, раскинув руки, чтобы полнее насладиться теплом и светом. Я совершенно забыл о маленьких радостях жизни. Оказывается, все, что мне было нужно, – это такой вот камень и февральское солнце.

Хлоя не отрывалась от книг. Она оказалась сообразительной, жадной до учебы и невероятно упорной. Но жаль, что не всегда справлялась с собой. Врагом ее решительности был недостаток терпения – ошибившись в слове или запнувшись на букве, Хлоя злилась и уходила в плохом настроении. Она была вспыльчивой и непостоянной, но я молчал. Я предпочитал, чтобы она вымещала свое раздражение на каком-нибудь дереве, а не на мне.

Я научил Хлою читать, а она, в свою очередь, научила меня другим премудростям. Например, читать книгу дождя. Или следы животных. Разбираться в растениях и грибах – какие съедобны, а какие смертельно ядовиты... Хлоя как никто знала лес и горы, и я наслаждался нашими прогулками и уроками. Когда темнело, мы возвращались в пещеру, она разводила огонь, я играл на гитаре, а потом мы читали, склонившись над лампой. Так я и жил.

Но потом, в ночной тишине и одиночестве, кошмары всегда возвращались. Безжизненное тело матери. Душераздирающий крик, умоляющий меня бежать. Ее кровь на снегу. Пули, поражающие ее, уже мертвую. И к этому стало примешиваться нечто новое. Нечто, мучившее меня все больше, по мере того как я выздоравливал. Судьба моего отца. Долго я убеждал себя, что он умер... Но что, если жив? И ждет меня дома? Или, может быть, ему плохо и я нужен ему? Если он в беде? Смогу ли я найти его? Вскоре эти сомнения стали неотступно терзать меня и днем.

По правде говоря, я смирился со своим положением. И чувствовал себя прескверно. Я искал облегчения, снова и снова напоминая себе, что я всего лишь несчастный мальчик, застигнутый войной, и не заслуживаю тех ужасов, которые со мной творятся. Приблизительно такими словами обычно выражалась мама, повторяя их, чтобы я сидел тихонько, но в то же время был в ладу с собой. Может, поначалу это и работало, но теперь уже нет. И стыд, который я испытывал, был тому доказательством. Мне было стыдно, что я забыл отца. Было стыдно прятаться в пещере и притворяться, что это и есть моя новая жизнь, в то время как снаружи кипит борьба.

Но прошлое и война всегда наступают нас. Полагаю, я предвидел, что очень скоро, раньше, чем можно было ожидать, на меня навалится и то и другое. Причем одновременно. Как будто судьба говорила мне: «Если ты не идешь мне навстречу, я сама приду к тебе». И так и случилось.

Во время одной из ежедневных прогулок мы углубились в ту часть леса, где еще не бывали. Снег уже сошел. Холода отступили, и можно было не надевать сто одежек. На склонах пробилась зелень, реки стали шумнее. Еще раньше Хлоя показала мне заводь, пригодную для купания. Сначала я заходил только по щиколотку, но потом привык и признал правоту Хлои, утверждавшей, что нет ничего лучше для кровообращения, чем купание в жидком льду.

Хлоя, по обыкновению, шагала впереди, а я поспевал за ней как мог. С каждым разом мы уходили все дальше, и хотя я еще не до конца восстановил силы, она была непреклонна: – Твои ноги должны помнить, зачем они нужны.

Она несла за спиной кролика, которого подстрелила точно в глаз. Не самая приятная в мире картина, но так было нужно. Хлоя надолго уходила из дома, и ее отец, хотя и проводил

большую часть дня со стадом или в поселке, мог что-нибудь заподозрить, если она приходила поздно. Так что возвращаться домой лучше было не с пустыми руками, а с охотничьим трофеем на ужин. Сколько кроликов пожертвовало жизнью, чтобы сберечь наш секрет?

Вдруг Хлоя остановилась и винтовкой указала мне на какие-то грибы.

– Это... – я не успел сосредоточиться, – это рыжики.

Если она молча продолжит путь, значит, я угадал. Так и случилось. Тогда я наклонился, чтобы собрать грибы и положить в сумку. Когда я выпрямился, Хлоя уже поджидала меня возле другого дерева.

– Лисички?

Хлоя молча кивнула и пошла дальше, а я снова остался собирать грибы. Даже отец Перет, наш учитель в школе, не бывал так строг на экзаменах. Через несколько метров Хлоя снова остановилась рядом с грибной семейкой.

– Э... знаю, знаю. Я помню. Сейчас.

– Никаких “сейчас”. Три, два, один...

– Соплюшка?

– Правильно. – Хлоя старалась не выдать удивления.

Когда я, довольный собой, наклонился за грибами, Хлоя легонько оттолкнула меня стволом винтовки:

– Они несъедобные.

– Но ты говорила...

– Есть несколько видов соплюшек. Если съесть эти, будешь чувствовать себя так же, как когда ты приполз в пещеру. А то и хуже. Будто горишь изнутри. Боль такая, что захочется сдохнуть. День или два не сможешь ничего есть, непрерывный понос и рвота, а потом...

– Ладно, ладно, я понял. Спасибо. А как их различить?

– Практика, – ответила Хлоя с усмешкой.

– Отлично, – буркнул я.

– Тсс! – Хлоя пригнулась, прячась за кустарником.

– Что такое? – Я последовал ее примеру, молясь, чтобы это оказался кролик.

Но это был не кролик. Если только кролики не научились говорить человеческим голосом. Группа солдат спускалась по тропинке со склона. Хлоя легла в мох и знаками приказала мне сделать то же. Я испугался, поскольку еще недостаточно окреп, чтобы убежать, если нас вдруг найдут.

Тропинка вилась всего в нескольких метрах от нашего укрытия, и мы стали осторожно отползать, чтобы оказаться как можно дальше от этого места, прежде чем к нему подойдут солдаты. По мере отступления растительность становилась гуще, что было нам на руку, но вскоре путь преградило дерево, и мы замерли: солдаты были близко, хруст опавших веток мог нас выдать.

Я задышался от волнения. Сквозь зелень я видел по крайней мере четыре пары ног, а по звуку можно было догадаться, что шагавших еще больше.

– Хуан, лучше вернуться с твоим отцом и его...

– Заткнись, Мелендес. Этот поганец и так во всем признается. Даже расскажет нам, где прячутся его дружки, правда? Правда?!

Послышался звук удара, и какой-то человек рухнул наземь. Я видел его лицо, редкие волосы и курчавую бороду, седую и растрепанную. Одежда была не по погоде легкой. Он хотел встать, но сильный удар прикладом в спину снова пригвоздил его к земле. Он закричал от боли.

Я растерянно и испуганно посмотрел на Хлою. В ее глазах я видел только ненависть и злость и не знал, надолго ли хватит терпения моей спутнице. Мы были метрах в десяти, а может быть, меньше, и пока нас не заметили.

Один из солдат подхватил пленника под мышки и помог ему встать.

– Будешь говорить или сразу пристрелить? – повторил верховод.

– Я ничего не знаю. Клянусь.

– Думаешь, я поверю клятвам паршивого коммуниста?

– Я не коммунист, сеньор. У меня в поселке скобяная лавка, я...

Оплеуха не дала ему закончить.

– А какого черта ты забыл в лесу? Хотел предупредить своих дружков, что мы тут, а?

– Нет... Я никогда...

Еще один удар – и лавочник упал на землю, хватая ртом воздух.

– Хуан! Генерал Миранда ждет нас...

– Да какого черта тебе дался мой отец? Влюбился ты в него?

– Он приказал вернуться в деревню, прежде чем...

– Он приказал прочесать лес и найти красных подонков. Именно этим мы и занимаемся.

Хлоя слегка подвинулась к просвету между ветвями. Я поступил так же, чтобы увидеть лица говорящих. На имя “Хуан” откликнулся безбородый юнец, но это я и так понял по голосу. Его взгляд наводил ужас. В нем сквозило безумие, и я не понимал, почему другие повинуются этому шенку. Тем не менее этот Хуан всеми командовал. Он схватил пленника и наставил на него пистолет, остальные были явно растеряны.

– Хуан! Сеньор!

– Мелендес, честное слово, если ты еще раз откроешь свой уродливый рот, я заткну его своими красивыми пулями.

Мелендес со вздохом отступил.

– Может, кому-то еще не нравится, что я делаю?

Теперь я видел лица по меньшей мере полдюжины солдат и заодно понял, почему никто не перечит Хуану. Он был сумасшедший.

Хлоя напряглась до предела. Я похолодел, видя, что она, выгнувшись, осторожно потянулась к висевшей у нее за спиной винтовке.

– Хлоя, нет... – прошептал я.

Она поразительно ловко и бесшумно выставила винтовку перед собой. Понятно, почему от нее не скроется ни один кролик. Она беззвучна, как привидение. Но выстрел нас выдаст. А с толпой солдат всего в нескольких метрах это наш смертный приговор.

– Я не предатель. Пожалуйста! У меня двое маленьких детей, – умолял лавочник.

– Что за чепуху вы все несете! Тебя что, поздравить, что ты славно покувыркался со своей бабой?

Как можно тише я подполз к Хлое и положил руку на ствол винтовки. Она посмотрела на меня в ярости. Я испуганно покачал головой. Ее зеленые глаза метали огненные молнии.

– Ты убьешь нас, – прошептал я.

– Они убьют его.

– Это не наше дело.

Пленник всхлипнул, когда Хуан приставил ему пистолет к виску.

– Последний шанс. Где красные ублюдки?

Хлоя отодвинула мою руку, но я снова положил ее на винтовку, не давая прицелиться.

– Ты трус. – Она сжала зубы.

И вдруг... Бац!

Мы оба вздрогнули, а через секунду увидели, что пленник лежит на земле с открытыми глазами, из головы у него хлещет кровь. Стоявшего рядом солдата рвало.

– Черт, Рамиро, что за свинство ты здесь устроил, – сказал ему Хуан как ни в чем не бывало.

– Сукин сын, – прошептала Хлоя, снова беря его на прицел.

Мы молча боролись. Но я был еще слаб. Было ясно, что борьбу я проиграю. И проигрыш будет стоить нам жизни. У меня оставался единственный выход. Я перекатился через Хлою и накрыл собой ее винтовку. Теперь стрелять было невозможно. Но эта дикарка вонзила зубы в мою задницу, отчего я негромко вскрикнул.

Носки всех ботинок повернулись в нашу сторону.

– Вы слышали? – сказал кто-то.

– Сорока?

– Какая, к черту, сорока. – Хуан жестом отправил двоих солдат проверить наши кусты.

Те сделали несколько шагов и навели пистолеты.

– Кто здесь? Лучше выходи, а то стрелять буду, – сказал один из них дрожащим голосом.

– Да никого там нет, – отозвался второй.

– В лесу всегда какие-то звуки.

– Может, пойдем? Поздно уже, – добавил тот, которого вырвало.

Было очевидно, что оба хотят сбежать отсюда, и побыстрее. Несчастный пленник еще не остыл, и, вероятно, эти солдаты впервые стали свидетелями столь хладнокровного убийства.

– Черт, мне за вас стыдно. – Хуан широким шагом направился к нашему укрытию, на ходу разряжая обойму.

Дойдя до нашего дерева, он раздвинул кусты и нашел убитого кролика. Он поднял его и с улыбкой показал остальным:

– Черт, точно в глаз! Кто там говорил, что это сорока?

– Будет чем поужинать!

Смех и аплодисменты солдат удалялись в одном направлении, а мы с Хлоей уносили ноги в другом. Углубившись в чащу, я немного успокоился. Голоса затихли вдали, и я остановился перевести дух. Едва я выдохнул, Хлоя впечатала меня в дерево:

– Еще раз – и я убью тебя.

На мгновение я оцепенел, но потом, очевидно под действием адреналина, который бурлил в моей крови, яростно оттолкнул ее:

– Ты меня и так чуть не убила! Хочешь сама сдохнуть – пожалуйста, но на меня не рассчитывай.

Хлоя, казалось, была сбита с толку. Я впервые с момента нашего знакомства всерьез рассердился.

– Ты должен мне кролика, – фыркнула она и пошла прочь.

– Черта с два!

– Что? – Хлоя угрожающе обернулась.

– Ты меня укусила, – пояснил я, краснея.

– Не будь таким нытиком. Я несильно.

Мы пошли дальше кружным путем. Я думал, мы никогда не дойдем, хотя понимал: это нужно, чтобы избежать неожиданных встреч. Возникшее между нами молчание сгущалось, как и лес вокруг. И тогда я его увидел. Среди ветвей. Всего в нескольких метрах. Я отклонился от курса, которым следовал за Хлоей, и нерешительно и робко пошел к нему. Я знал, что найду.

– Куда это ты? – буркнула Хлоя.

Я приблизился к тесной группке деревьев, и там, среди сплетшихся, не дававших друг другу расти нижних ветвей лицом к лицу встретился со своим прошлым. От неожиданности у меня из глаз потекли слезы.

Иногда жизнь сворачивает с прямой дороги, заставляя нас ходить кругами, чтобы показать, что путь, которым мы следуем, всегда один и тот же, а меняемся мы сами.

Хлоя встала рядом и устала на пальто и ранец, свисавшие с ветвей, а я украдкой вытер слезы рукавом.

– Отлично. Поздравляю. Еще одно сокровище в мою пещеру, – произнесла она равнодушно.

– Это не сокровище. Это... это был мой ранец. – Мне нечего было добавить, и я пошел прочь, чтобы Хлоя не видела, как я плачу.

– Ну так заberi! – крикнула она скорее раздраженно, чем с любопытством.

Что-то в моем ранце привлекло ее внимание, и она подошла ближе. Посередине чернела маленькая круглая дырка.

– Подожди!

Я не остановился, уверенный, что чем дальше уйду от этих вещей, тем скорее все забуду. Хлоя пристально изучала ранец. Поковыряла пальцем в дырке. Отцепила от ветвей – это было непросто. Положила на землю и открыла. Пошарила внутри, пока не наткнулась на единственную вещь, которую я взял с собой из дома в тот день, когда оставил позади все.

– Книга? – Хлоя перевернула ее, чтобы посмотреть название, и обнаружила пулю, засевшую в кожаной обложке. – “Два-дцать сти-хо-тво-ре-ний о любви и одна песнь от-ча-я-ни-я”.

Хлоя подхватила свою добычу и догнала меня. За весь оставшийся путь мы не обменялись ни словом.

В пещере снова воцарилось молчание. Пламя костра играло с нашими тенями, заставляя их плясать на шершавых стенах, дрова изредка потрескивали. Я смотрел на огонь словно замороженный, а Хлоя неотрывно следила взглядом за мной.

– Так и будешь молчать? – не выдержала она. – Сколько ни пытайся, все равно не сможешь ничего забыть.

– Ты почему знаешь? – взревел я. – Сама-то пробовала?

– А зачем мне?

– Чтобы не страшно было.

– Страшно? Каждый вечер я засыпаю в ужасе от того, что к утру могу забыть ее. Вот это действительно страшно.

Она впервые так искренне говорила со мной о матери. Наши взгляды встретились сквозь пламя. Хлоя сунула руку в карман пальто и достала отцовскую книгу:

– Нельзя забывать, кто ты...

Меня пробрала дрожь, все мое существо отторгло книгу, но жест Хлои придал мне храбрости, и я взял ее дрожащими руками.

Увидев в обложке дыру, я засунул в нее палец, и он погрузился на целую фалангу. Хлоя протянула руку и показала мне пулю, которую извлекла из книги. Я снова почувствовал, как к горлу подкатывает ком.

– Есть вещи, которые нельзя списать на простую случайность, Гомер.

Я не мог отвести глаз от пули, засевшей в подаренном отцом томике Неруды. Я изо всех сил прижал книгу к себе и разрыдался. Хлоя пересела ближе и взяла меня за руку.

Можно всю жизнь делиться с кем-то пережитым, но пока ты не доверишь другому свои страхи, между вами будет стена. С этого дня я почувствовал, что какая-то часть Хлои принадлежит мне, а какая-то часть меня – ей.

И хотя это было нечто неуловимое, мы оба это знали. Мы сидели у догорающего костра. Язычки голубого пламени пробежали над углями, продолжавшими дарить пещере тепло. Я то и дело невольно касался плечом Хлои – она сидела рядом, держа книгу на коленях, и ковыряла дырку в обложке.

– Папа сказал, что эта книга защитит меня.

– Она спасла тебе жизнь. – Хлоя перелистнула первую страницу и прочла сделанную от руки короткую дарственную надпись, которой я никогда раньше не замечал: “Живи так, словно читаешь книгу, и люби так, словно читаешь стихи”.

– Это папин почерк, – заметил я с удивлением.

- Что это значит?
- Не знаю...
- Давай прочитаем.
- Здесь не будет ни приключений, ни подводных лодок, ни чудовищ. Это просто поэзия,

Хлоя.

- Поэзия? Что такое поэзия? – Этот невинный вопрос вызвал у меня ласковую улыбку.
 - “Неужели не знаешь? Поэзия – это ты”, – произнес я, уносясь мыслями в другое место.
 - Я? – Хлоя подняла бровь и с интересом посмотрела на книгу.
- Я беспомощно улыбнулся ей, не в силах думать ни о чем, кроме родителей.
- Что с тобой?
 - Ничего.
 - Ты как-то притих.
 - Я устал. День был тяжелый.
 - Не только сегодня, вообще. В последнее время ты изменился.
 - Все хорошо...

Почему это было так трудно? Наверное, потому, что я знал: стоит высказать свои мысли вслух – и я не смогу больше прятаться от правды. А если я не готов уйти? Мне нравилась моя новая жизнь. Спокойная, вдали от войны и ее ужасов. У меня была гитара, были книги, я гулял по лесу и каждый день проводил с Хлоей. Почему я должен был от всего этого отказаться?

- Можно я что-нибудь прочитаю?
- Конечно. – Я был согласен на все, лишь бы не замечать реальности.

Хлоя откашлялась и начала. Она читала не без труда, но за последние недели добилась больших успехов. Сначала она спотыкалась на некоторых словах, но постепенно почувствовала ритм. И хотя ее чтение было далеко от совершенства, для меня совершенством было каждое слово, слетавшее с ее губ.

...Вот такую же ночью, как эта, ее обнимал я.
Сколько раз я ее целовал под открытым для вечности небом.
Любила она меня; по временам я любил ее тоже.
Да и как не любить было эти большие прямые глаза?
Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали.
Подумать – она не со мной. Ощутить, что ее потерял я.
Слышать эту огромную ночь – без нее она стала огромной.⁷

Каждое слово кинжалом вонзалось мне в сердце. Словно поэт предупреждал меня, что я совершаю ошибку. Я посмотрел на Хлою, как никогда не смотрел раньше. Она подняла на меня свои “большие прямые глаза”, робко улыбнулась и снова опустила взгляд на истрепанные страницы.

Ну и что ж, что любовью не мог я ее удержать?
Этой звездною ночью она не со мною.
Это всё. Чей-то голос поет вдалеке. Вдалеке.
Но душа не смиряется с тем...

- Я ухожу, Хлоя.

⁷ Этот и следующий – фрагменты стихотворения чилийского поэта Пабло Неруды (1904–1973) “Я могу написать этой ночью стихи...” в переводе О. Савича. Цит. по: Поэзия магов. СПб.: Азбука-классика, 2003.

Я произнес это вдруг. Будто стоял на бортике бассейна с ледяной водой, зная, что рано или поздно придется прыгнуть. И я прыгнул. От этих слов все внутри разрывалось.

– Сейчас? Хочешь прогуляться?

– Я возвращаюсь в Барселону.

– Что? – Этого она не ожидала. Вероятно, никогда даже не думала о такой возможности, и ее разочарование отозвалось во мне сильнее, чем я думал.

– Ты сама так сказала. Я должен идти дальше.

– Но... – Хлоя закрыла книгу и встала. – Почему?

– Я должен найти отца. Должен узнать, жив ли он.

– Когда? – Она опустила голову.

– Завтра утром.

– Завтра? Так скоро?

– Хлоя, уже несколько месяцев...

– Да. Ты прав. Я понимаю. Это твой долг. Я поступила бы так же. Ты должен уйти, а я должна остаться. Помогать отцу, заботиться об овцах и...

– И о бестолковых свиньях, – помог я ей закончить фразу с улыбкой.

– Да.

Она развязала шнурок медальона.

– Обещай мне одну вещь...

– Нет, Хлоя, так не пойдет... Это твое любимое сокровище...

Всхлипнув, она подошла ко мне будто в замедленной съемке. Кончик носа у нее покраснел. Хлоя подняла руки и, глядя на меня в упор, стоя совсем близко, надела медальон мне на шею.

– Я не могу принять его.

– Это не подарок. Это обещание.

– Обещание?

– Обещание, что однажды ты мне его вернешь.

– Хлоя, я не знаю, буду ли...

– Обещай! – Голос у нее дрожал.

– Обещаю.

Я чувствовал запах ее волос. Видел свое отражение в ее нефритовых глазах. За эти четыре месяца между нами возникло нечто, что невозможно было отрицать. Никогда раньше я не чувствовал ничего подобного. Никто ничего не объяснял мне, но в этот момент я все понял.

– Ты тоже должна мне кое-что обещать, – сказал я, осмелев.

– Что?

– Что ты меня не застрелишь.

– А зачем мне в тебя стрелять?..

Я не стал ждать. Приблизившись, я поцеловал ее губы, словно нежнейшую вещь на свете. Для меня они такими и были.

Я был уверен, что это может кончиться только тычком под ребра или ударом коленом между ног, а то и всем сразу, но ошибся. Я понял это, когда ее руки обвили мою шею. Ее губы играли с моими. Я мог раскаиваться лишь в том, что не сделал этого раньше. Намного, намного раньше. Разняв губы, мы смотрели друг на друга, упершись лбами. Хлоя улыбнулась:

– Говорят, что первый поцелуй нельзя забыть.

– Я и не собираюсь, – прошептал я убежденно, прежде чем снова прильнуть к ее губам.

В ту ночь она не ушла. Мы, два птенца, хотели провести вместе каждое отпущенное нам мгновение. Я пел ей свою песню. Ее песню. Никогда раньше я не исполнял ничего настолько личного, и оказалось, это все равно что раздеться перед ней. Я был весь как на ладони. Я пел всем сердцем, рассказывая о волшебном уголке в горах, где мальчик, не имевший ничего и

потерявший все, нашел тайную пещеру, полную сокровищ и забытых воспоминаний. Место, *где умирает ветер*. Музей беженцев, где главным сокровищем была она. Волшебница, способная украсть сердце и спрятать его в глубине своих зеленых глаз. Она исцелила меня от недугов и вернула к жизни.

Начало песни было медленным и тяжелым. Настолько, что я, может быть, переусердствовал: у Хлои в глазах блеснули слезы. Но затем, после секундного колебания, ритм исполнился надежды и радости, чтобы устремиться к недостижимому концу. Я не смог сочинить его. Не захотел. Потому что наша история была еще жива. А эта песня закончится только вместе с ней.

Мы уютно свернулись в нашем уголке возле одеял.

- Обещай мне, что эта песня всегда будет нашей.
- Эта песня всегда будет твоей.
- Я мечтаю услышать ее еще тысячу раз.
- Я буду петь ее ветру, чтобы он приносил ее сюда, умирая.
- Думаешь, это возможно?
- Я думаю, все возможно.

Мы спали всю ночь, обнявшись. На следующее утро, когда солнце показалось из-за гор, грустный парень с выдавшей вида гитарой за спиной направился вниз по склону, прочь, отказываясь от своей любви, а грустная девушка с книгой Неруды в руке провожала его взглядом с вершины скалы.

Хлоя поднесла свободную руку ко рту и оглушительно свистнула. Я услышал ее издали и, обернувшись, увидел, что она машет мне на прощанье.

– Я буду скучать по тебе, дочь леса, – прошептал я ветру, желая, чтобы она услышала меня и ответила: “Я буду скучать по тебе, сын города”.

Так я впервые в жизни влюбился.

Так я впервые влюбился в нее.

4. Возвращение

Грузовик, везший меня в Барселону, был такой же разбитый, как и дорога, по которой он ехал. К постоянной тряске добавлялись ухабы, от которых я подскакивал на сиденье. А кто не встречал ухабов на пути?

В грузовике я был не один. Со мной ехало еще полтора десятка детей. Мы, как скот, помещались в кузове, крытом брезентом, который по дырявости мог соперничать с моими носками и едва защищал нас от пыли и грязи.

С тех пор как грузовик подобрал меня на дороге, я чувствовал себя словно старший брат: из пятнадцати попутчиков лишь один или двое были приблизительно моими ровесниками. Никто не разговаривал, все смотрели в пол или на свои истоптанные башмаки. Да и непросто было поднять взгляд. Вершины Пиренеев, от которых я уносился все дальше, бледневшие с каждой минутой, еще виднелись на горизонте, напоминая мне о том, что я оставлял позади. Собственно, все мы что-то оставляли позади, все что-то теряли.

Но самая грустная картина открывалась прямо перед нами. Обочина дороги являла собой печальнейший образ войны. Бесконечный поток людей – сотни, тысячи человек пешком шли нам навстречу, пытаясь унести все что можно, спасаясь от смерти. В основном это были матери с малыми детьми и старики. Их мужчины воевали на той или другой стороне, навсегда разрушив свои семьи.

Горожане бежали от непрерывных бомбардировок, которым в марте 1938 года подвергла Барселону итальянская авиация. Бомбы помогли фашистам добиться своего: уставшие страдать люди были подавлены.

Они шли в горы в надежде пересечь французскую границу. К несчастью, я уже знал, чем это может кончиться, и молился, чтобы они добрались до цели невредимыми. Быть может, судьба приведет кого-то из них к Хлое, а может, их поклажа в итоге окажется *там, где умирает ветер*. Там, где я заново родился.

У всех ехавших в нашем грузовике было нечто общее. Пусть глаза у каждого были своего цвета, пусть брови разной густоты, пусть у кого-то тонкие, а у кого-то грубые черты лица, всех нас роднил взгляд – печальный, безжизненный, тусклый, отражающий одно-единственное знание, почерпнутое из опыта: ничто в будущем никогда не вернет нам того, что мы уже потеряли. Взгляд, который другие дети обращали на свои судьбы, а я – на медальон у себя на шее. Это может показаться глупым, но всякий раз, глядя на медальон, я вспоминал Хлою и оживал, оттого что был уверен: что бы ни случилось, в горах есть человек, который меня ждет.

Больше двух недель прошло с тех пор, как мы расстались. В первые дни я преодолевал горные теснины, пересекал долины и реки. По возможности избегал деревень. Пригодились усвоенные приемы выживания: я питался грибами, плодами и всякой отвратительной живностью. Я умел оборудовать себе ночлег и поставить силки на кроликов, хотя от них не было проку, поскольку ни времени, ни, особенно, терпения у меня не было, и я ни разу не вернулся, чтобы посмотреть, не попалось ли в ловушку какое-нибудь несчастное животное. Я шел только вперед и не желал ни медлить, ни тем более отступать.

Я был тем же, что и прежде, пусть намного более умелым и ловким, однако таким же испуганным. В горах я ощущал себя всемогущим, но чем дальше оставались Пиренеи, тем труднее было добывать пропитание. Припасы кончились, а голод никуда не делся.

Пришлось заходить в деревни. Я боялся встреч с людьми. Не знаю почему, но я никому не доверял.

Миновав несколько деревень, я понял, что люди и себе-то не могут помочь. Повсюду искали отдыха, еды и питья солдаты. Я стал блуждающим призраком, невидимым для окружающих.

Почти во всех населенных пунктах стояла республиканская армия, но атмосфера была в целом спокойной. Здесь и там я слышал, что фашисты под предводительством некоего Франко наступают со всех сторон и что Каталония, прежде всего Барселона, – один из последних оплотов Республики. Никто не знал, сколько это продлится, но многие говорили, что война скоро кончится. Я уже не раз это слышал, вспоминались мамины шутки про “сантехников”, так что я не спешил ликовать.

Если сначала бежали и скрывались солдаты Франко, то теперь форму срывали республиканцы, чтобы переодеться крестьянами и отправиться во Францию. Но чем ближе я оказывался к Барселоне, тем упорнее люди верили, что мятежников разобьют и Республика снова победит. Первая победа произошла на избирательных участках, а вторая произойдет на поле боя. Так они говорили. Каждый пребывал в своем пузыре, и Барселона не была исключением.

Я выжил благодаря гитаре. В попадавшихся по дороге заведениях я зарабатывал себе еду и ночлег, развлекая посетителей. Я преодолел стыд, мешавший выступать на публике. Когда желудок сводит от голода, все прочее чепуха. Иногда я оставался лишь на ночь, а наутро собирал пожитки и продолжал путь, но иной раз задерживался дольше. Все зависело от условий, удобства, моей усталости и количества припасов. Путешествовать одному, рассчитывая лишь на собственные ноги в качестве средства передвижения, так себе удовольствие. Если я набредал на приятное место с доброжелательными людьми и хорошей компанией, покинуть его сразу было нелегко. Я старался накопить там сил, чтобы пережить неизбежное одиночество, ждавшее меня в дороге.

В пути я познакомился с удивительными людьми, но мне не с кем было разделить свои тяготы, так как все шли в противоположном направлении. Никто не понимал, почему после пережитого я хочу вернуться в Барселону. Честно говоря, я и сам не всегда мог себе это объяснить, и не раз, воодушевившись и расхрабрившись от выпитого вина, обещал случайным знакомым отказаться от своего намерения и уйти с ними из этой “проклятой страны”.

К несчастью, утреннее похмелье возвращало меня с небес на землю. Первый раз был самым тяжелым. Я даже не понимал, что со мной происходит. Единственным желанием было окунуть голову в ведро со льдом, если уж я не могу погрузиться в холодную горную речку. Меня будто прожевали и выплюнули. Но утренние страдания меркли по сравнению с ночной эйфорией, и это было неопределимо. Кроме того, заваливаясь спать пьяным, я почти перестал видеть сны. По крайней мере, наутро я не помнил кошмаров, в которых мать умирает на снегу, а отец зовет меня в отчаянии. И Хлою я тоже не вспоминал...

Чем дальше я уходил, тем заметнее менялся климат, и когда солнце поднималось высоко, жара становилась мучительной. По шоссе идти было иначе, чем по горным тропам. Ноги болели, плавившийся асфальт рвал ботинки, а на горизонте видно было лишь бесконечно змеившуюся дорогу, теряющуюся там, где земля встречается с небом.

Дни сделались бесконечными, ночи одинокими, а в желудке урчало все громче. Чем ближе я подходил к Барселоне, тем чаще встречались поселки-призраки, где навстречу не выбегали даже собаки. Я чувствовал себя словно Данте, спускающийся в ад. С той разницей, что Данте шел на поиски своей возлюбленной Беатриче, и с ним был поэт Вергилий, а я шел искать отца, и со мной была лишь моя измученная гитара.

Спасение подоспело на четырех колесах: я услышал мотор тормозившего рядом грузовика. Водитель и его спутник на пассажирском сиденье окинули меня взглядом и подвергли быстрому и очевидно рутинному допросу:

– Как тебя зовут?

– Гомер.

- Сколько тебе лет?
- Пятнадцать. Стойте, – спохватился я вдруг, – какое сегодня число?
- Восьмое июня.
- Тогда... тогда шестнадцать.

Я впервые забыл про свой день рождения. Что я делал одиннадцатого мая? Кажется, это был один из последних дней, когда я видел людей. Получается, я отпраздновал в харчевне в окружении пьянчуг, угощаясь прокисшим пивом, доставшимся мне в оплату за два с половиной часа музыки.

- С кем ты идешь?
- Со своей гитарой.
- Куда?
- В Барселону.
- И мы туда же.
- Возьмите меня с собой, пожалуйста! Я уже несколько дней иду, и...
- Конечно, залезай.

Улыбнувшись во весь рот, я понял, до чего у меня пересохли губы от жары и жажды. Наконец-то немного сочувствия и дружелюбия. Я потянулся, чтобы открыть дверь кабины, но неприятливый тип, сидевший рядом с водителем, высунулся и грубо сказал:

– В кузов, приятель. Здесь места только для взрослых. – Его хриплый смех был таким же неприятным, как и голос. – Давай пошевеливайся.

Я подбежал к кузову и, запрыгнув, обнаружил, что я не первый, кого они выбрали, а, скорее, последний.

Грузовик подскочил на рытвине и вывел меня из задумчивости. Я огляделся, но обстановка была все та же. По обочине дороги тянулись несчастные беженцы, в кузове ехали грустные дети.

Я приподнял край брезента, и мне показалось, что вддали, на фоне горизонта, виден неповторимый силуэт горы Монсеррат. Значит, подъезжаем. Волнение овладело мной. Скоро буду дома...

Какой-то малыш заплакал, и плач распространился вокруг, как вирус, – вскоре почти все дети рыдали. Их горе впивалось мне в душу, и чтобы не заразиться чужим примером, я взял гитару, наскоро настроил (спасибо кабацкому опыту) и сыграл самое веселое, что пришло мне в голову.

Я так часто играл сам для себя, желая побороть одиночество, что понял: печаль – это болезнь, передающаяся с плачем, но музыка, наравне со смехом, – лучшее лекарство от нее. Вскоре никто уже не плакал, все как замороженные смотрели на мои пальцы, порхавшие по струнам от одной ноты к другой.

Я спел дурацкую песенку, сочиненную в пещере во время бесконечных одиноких ночей. Когда не придумывались слова, я издавал пукающий звук. Эффект был мгновенным – все смеялись, забыв о том, что нас окружает. В конце концов слушатели только и ждали, чтобы я замолчал и можно было хором пукнуть, что вызывало новые взрывы хохота. Я надеялся, что наш невинный смех доносится до обочины и немного ободряет бредущих навстречу беженцев.

Настала ночь. Гитара лежала рядом, дети спали, склонив головы друг к другу. Я достал из-под одежды медальон и стал рассматривать. Я вспоминал ее губы и горячую волну, пробежавшую по телу, когда я поцеловал ее. Дурак. Зачем я уехал? Парень моего возраста или, может быть, чуть старше не сводил с меня глаз. Он не был похож на остальных. Взгляд у него был не грустный, а, наоборот, живой и дерзкий. Жесткие черные волосы торчали во все стороны, он был тощ, как бездомный пес. Тем не менее, когда я взглянул на него, он улыбнулся. Где-то в глубине у меня сохранились остатки воспитания, и я улыбнулся в ответ. Парень встал

и пересел ко мне. Повадка у него была уверенная, будто он тут главный. Я спрятал медальон под рубаху.

– Как дела, приятель? Я Иполито, хотя все зовут меня Полито.

– А я Гомер.

– Гомер? Что за имя?

– Отец преподавал античную литературу.

– А, здорово... И что с того?

– Да так, ничего...

Я снова стал смотреть на дорогу, давая понять, что разговор окончен. Но как бесконечен был поток беженцев, так и наш разговор был далек от завершения.

– Ищешь родителей?

– Да, – удивился я, – отца. А ты?

– Еще чего.

– Почему?

– Потому что я даже не знаю, кого искать. – Он пожал плечами и хохотнул. – А твои где?

– Думаю, отец может быть в Барселоне. Но не уверен. Когда приеду, примусь за поиски.

– Когда приедешь! – Полито расхохотался. Его смех действовал мне на нервы.

– Чего смеешься?

– Ты ведь понятия не имеешь, куда нас везут, правда?

– В Барселону.

– Ну разумеется. В Барселону. А куда именно?

Теперь была моя очередь пожимать плечами: пункт назначения наверняка мне не понравится.

– Посмотри вокруг, умник. С гитарой ты здорово управляешься, а вот с этим... – он постучал пальцем по лбу, – не очень.

– А что я должен видеть?

– А что ты видишь?

– Детей.

– А родителей?

– Нет.

– То есть эти дети... – Он сделал паузу, предоставляя мне закончить фразу.

– Сироты?

– Bravo! И последний вопрос в нашей викторине: куда обычно везут детей-сирот? На пляж вряд ли...

Я уже догадался, каков ответ, а значит, понял, куда еду:

– В приют.

– Именно! И поверь мне, оттуда не так просто выбраться. Я знаю, что говорю.

– Но мне нужно найти отца.

– Ну удачи.

Как я мог быть таким дураком, что эта мысль даже не пришла мне в голову? Я устал, был голоден, хотел пить, но это не оправдание. Дурак, дурак.

– Ты уже бывал в приютах?

– Естественно. Я в них вырос.

– А как ты здесь оказался?

– Пару недель назад мне нужно было свалить из Барселоны... по личному делу. Но теперь пора назад, поэтому я сдался. Довезут быстро и бесплатно. – Он подмигнул.

– Ты же попадешь в приют...

– Да. Но это не тюрьма.

– Можно сбежать? – спросил я с надеждой.

– Сбежать можно откуда угодно. Если уметь, конечно.

– Ты мне поможешь?

– Разумеется.

– Спасибо! Спасибо огромное! А то я...

– В обмен на медальон, который ты там прячешь... – быстро добавил он, тыча меня пальцем в грудь. – И один совет, если позволишь: на твоём месте я бы его не светил. Тебе чертовски повезло, что его ещё не отобрали.

Я стиснул медальон сквозь рубаху:

– Нет. Это не мой. Я обещал вернуть.

– О да... Я так и знал, что краденый.

– Он не краденый, – оскорбился я.

– Ну да, ну да... Знаешь, опыт мне тут кое-что нашептывает... Я его обычно слушаюсь.

Поверь, никто не отдаст такую вещь в надежде получить обратно.

– Может, тебе просто не хватает опыта.

– Как скажешь, – фыркнул он, отворачиваясь.

– Значит... ты не поможешь мне?

Полито взглянул на меня с легким раздражением. Но оно быстро улетучилось, и он снова улыбнулся.

– Посмотрим, – ответил он, сворачиваясь калачиком, кладя руку под голову и закрывая глаза.

Меня разбудил резкий звук клаксона. Было светло. Ворота в решетке, окружавшей огромный дом, открывались, пропуская нас. Очевидно, мы приехали.

У подножия каменной лестницы, ведущей в холл, стояла группа монахинь с серьезными и недовольными лицами. Все указывало на то, что привезли нас не на праздник и никто нам здесь не рад.

Чуть поодаль стоял фотограф, его лицо было едва видно за камерой. Полито сидел рядом со мной.

– Готов, гитарист?

– То есть ты все-таки поможешь мне?

– Делай, что говорю.

– Зачем здесь фотограф?

– Республиканская пропаганда, – ответил он с презрением.

– Пропаганда?

Полито очертил в воздухе прямоугольник газетного заголовка и дикторским тоном произнес:

– Республиканская армия заботится о сиротах. Да здравствует Республика, долой фашизм.

Дети попарно стали вылезать из грузовика. Монахиня вручала каждому ломоть хлеба и крохотный квадратик шоколада, а фотограф увековечивал эти моменты. Мы с Полито были последними.

– Запомни: если войдешь, то уже не выйдешь.

– Что мне делать?

– Держи гитару крепче и жди моего сигнала.

– А если меня схватят?

– Да ты их видел? Это же монашки, приятель. Если тебя поймают, ты сам заслужил провести здесь всю оставшуюся жизнь.

Не самое ободряющее заявление, но с учетом того, что оно исходило от Полито, и не самое страшное.

Настала наша очередь. У меня коленки дрожали, но Полито был спокоен, как вода в бассейне. Если не получится, я потеряю отца и Хлою. Как я оказался на этом перекрестье?

Мы вылезли из грузовика. Нам дали хлеб и шоколад. Шоколад Полито немедленно сунул в рот. Через пару метров, когда мы почти поравнялись с фотографом, Полито крикнул:

– Давай!

Я подпрыгнул, как лошадь, которую хорошенько хлестнули по крупу. Полито толкнул фотографа, сбив с ног, с восхитительной ловкостью подхватил камеру и бросился бежать. Я кинулся следом, но тут фотограф, не успев еще встать, схватил меня за штанину:

– Держи вора!

Монахини бросились ко мне, водитель грузовика и его спутник выпрыгнули из кабины, вид у них был грозный. Я инстинктивно схватил гитару и с силой ударил фотографа по лицу.

Тот закричал от боли, а я оторопел и не сразу сообразил, что он отпустил меня и я снова свободен. Полито был уже у ворот и кричал, не понимая, какого черта я медлю. Наконец я среагировал – прежде чем кто-либо успел в меня вцепиться. Пока монахини и водитель хлопотали вокруг фотографа, мы с Полито были уже за забором, в лесу, отделявшем приют от города.

Мы со всех ног мчались вниз по склону, перед нами расстилалась Барселона. Судя по открывшемуся виду, я готов был поспорить, что мы находимся у подножия горы Тибидабо, а шоссе, которое мы пересекли несколько раз, было одним и тем же – так называемая Аррабас-сада, дорога, соединяющая Барселону и Сант-Кугат. Мы так быстро неслись, что минут через сорок уже ступили на асфальт в верхней части города. Очень странное было чувство. Будто я много лет провел на чужбине и теперь возвращался совершенно другим человеком, понимая, что тот робкий и молчаливый мальчишка с мячом, каким я был раньше, умер в горах.

Свернув в какой-то переулок, мы остановились, потные и уставшие. Я прислонился к стене дома, чтобы отдышаться, а Полито сполз по стене и сел на землю.

– Уф! – Выдохнул он удовлетворенно. – Ничего так пробежались, а?

– С камерой это ты зря!

– Зря? Ты с ума сошел. Старик Эммет за нее хорошо заплатит. – Он с гордостью посмотрел на фотокамеру и протер ее рукавом.

– Она не твоя, – ответил я со всей невинностью человека, которому не приходилось выживать на улице.

– В этом ты совершенно прав. Она принадлежит... – он, прищурившись, посмотрел на корпус, на котором ножом была нацарапана надпись, – какому-то Эр Капе. Но я не думаю, что господин Капа очень расстроился.

Его насмешливое лицо внушало мне беспокойство. Как можно быть таким безмятежным? Во мне еще бурлил адреналин, выделяясь из каждой поры.

– Ладно, пойдем. – Полито одним прыжком вскочил на ноги и зашагал было дальше, но тут же увидел, что я не готов продолжать путь.

Он вернулся в раздражении:

– Ты что? Надо пошевеливаться.

– Прости, но с этой минуты у меня своя дорога.

– Что? Это твоя благодарность?

– Я уже сказал, мне нечем тебе заплатить. И потом, у меня есть дела.

– Я тебе помог, теперь ты должен помочь мне. – Его тон не допускал возражений. Он выглядел задетым и больше не улыбался.

Мне не терпелось вернуться домой, но если бы не Полито, я был бы сейчас заперт в приюте.

– Что тебе нужно? (Проклятая верность.)

– Так-то лучше.

– Я еще не согласился.

- Просто помоги мне продать камеру Эммету.
- Кто такой Эммет?
- Один старик. Ростовщик, заодно скупает и перепродает все на свете. Его лавка тут недалеко.
- Для этого я тебе не нужен. Ты и один можешь продать камеру.
- Конечно, могу. Но если я скажу, что она краденая, он за нее почти ничего не даст.
- Она и есть краденая.
- Нет, если ты выдашь себя за Эр Капу.
- Я? А почему я?
- Потому что старик тебя не знает, понимаешь? Можешь сказать, что тебя зовут Рикардо Капа. Или Рауль. Рамиро. Рухенсио.
- Рухенсио? Что это за имя?
- А тебе не плевать, Гомер? – Мое имя он произнес с нажимом. – Главное, чтобы звучало правдоподобно. Это твоя камера, и ты хочешь ее продать.
- Переулочек был темный, вечерело, мой дом был недалеко.
- Прости, не могу помочь. Спасибо тебе за все.
- А тебе – за ничего! – ответил он раздосадованно, но я уже шел своей дорогой. – Подожди, подожди! Давай поделим выручку.
- Мне не нужны деньги. – Я даже не обернулся.
- Не нужны? Ты что, еще не понял, где находишься?
- Я остановился и взглянул на него скорее устало, чем заинтересованно. Между нами было метров десять.
- Насколько мне известно, я в Барселоне.
- Полито снова театрально расхохотался. От смеха он даже согнулся пополам, будто не мог совладать с собой, но уже через миг резко распрямился и серьезно посмотрел на меня. Вывод: он ненормальный.
- Ладно, я попробую помочь тебе еще раз. Для начала напомним, где ты находишься, гитарист.
- В Барселоне? – высокомерно сказал я.
- Да, в Барселоне, черт возьми, но я не об этом. Мне кажется, ты кое-что забыл. Ты сирота, и вокруг война. Поверь мне, приятель, тебе нужны деньги. Тебе и с деньгами-то придется хреново.
- Я не сирота.
- Как скажешь. Ладно, гитарист, удачи... – Теперь Полито повернулся спиной и пошел прочь по другой стороне переулочка.
- Я прекрасно понимал, что это уловки, чтобы заманить меня в сети, но они не отменяли того, что сказанное было правдой. Мне нужны были деньги.
- Ладно! – крикнул я ему как можно спокойнее. – Я помогу тебе с камерой и возьму свою долю, но после этого знать ничего не хочу ни о тебе, ни о твоём ростовщике.
- Разумно, – повернулся он с улыбкой. – Мне восемьдесят, тебе двадцать.
- Я подошел к этому мошеннику вплотную:
- Пятьдесят и пятьдесят. Может, я не вырос на улице, но я не дурак.
- Семьдесят, тридцать. Может, ты и не дурак, но большого ума пока не видно. И потом, я делаю всю работу, меньше мне уже невыгодно.
- Несколько секунд мы молча мерили друг друга взглядами. Я знал, что попался. Полито плюнул себе на ладонь и протянул ее мне:
- Лады?
- Я пожал ему руку, довольный, что сумел выторговать хоть что-то:
- Лады.

– Отлично. Тогда идем. Сюда.

Казалось, Полито торопится, и я поспешил за ним, желая покончить с этим делом.

Он повел меня темными и грязными переулками. Затерянные задворки ветхих зданий, царство тощих ободранных котов.

– Можно я скажу, что меня зовут Роберт?

– Говори что хочешь, лишь бы начиналось на “эр”.

– Ты пойдешь со мной?

– Нет, я буду ждать снаружи.

– Слушай... а вдруг старик знает фотографа?

– С какого перепугу ему знать какого-то фотографа?

– Не знаю... Это точно здесь? – Мне было беспокойно.

– Да, почти пришли... В чем дело?

– Не знаю... Что-то мне не нравится.

– Что именно?

– Не знаю... Интуиция...

Мы дошли до стены тупика, и Полито взглянул на меня с удовлетворением:

– Ну поздравляю.

– С чем?

– Хорошая интуиция. Я бы на твоём месте её слушался.

– Ты о чём? Где мы?

– Тебе не говорили, что ты задаешь слишком много вопросов? – Взгляд его изменился.

Теперь невозможно было узнать мальчишку, что просил помочь продать камеру.

– Куда ты меня привел? Здесь ничего нет!

– К несчастью, кое-что все же есть. – Полито дважды постучал по железному мусорному баку справа от себя.

– Что ты делаешь?

Прежде чем он успел ответить, я услышал за спиной смех и обернулся, не понимая, что происходит. Трое парней старше, выше и гораздо крепче нас приближались, похлопывая дубинками по ладоням. Я взглянул на Полито, надеясь, что для него это тоже неожиданность и он сумеет вытащить нас из этой передраги, но в его глазах я прочел другое. В них не было ни веселости, ни насмешки – и ничего, что могло бы разъярить меня. Осмелюсь сказать, что в его темных глазах читалось нечто противоположное торжеству. Ему было стыдно?

– Прости, гитарист.

– Ну, Поли, кого ты нам привел? – сказал самый высокий и страшный из парней.

– Денег у него нет, гитара – дешевка, но есть золотой медальон на шее.

– Золотой? – усомнился тот. – Проверим.

– Я пошел.

– А это что?

– Фотоаппарат... Отнесу Эммету.

– Отлично. Мы сами отнесем. – Верзила, ослабившись, протянул руку.

На секунду мне показалось, что Полито взбунтуется, но он нехотя подчинился и отдал камеру. Очевидно, он как-то от них зависел.

– Теперь всё? – уточнил Полито.

Верзила кивнул – впрочем, не слишком уверенно.

– Не хочешь посмотреть?

– Как вы вдвоем отлупите этого бедолагу? Нет, спасибо. У меня дела.

– Ну как хочешь, – ответил тот, стискивая зубы и направляясь ко мне.

Полито поспешно ушел. Он знал, что будет дальше, и не хотел присутствовать. Я тоже знал, что будет дальше. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Мне предстояла первая в

жизни драка. И они, и я были настроены решительно. Они были готовы на все, чтобы забрать у меня медальон, а я – чтобы не расставаться с ним.

В романах Жюль Верна есть надежда на невозможное, и это их лучшая черта. Главные действующие лица – настоящие герои, а герои всегда побеждают, потому что они хорошие, ведь добро всегда побеждает зло. Это очень романтично, прекрасный взгляд на мир, но у реальности своя логика и свои представления о справедливости. Реальность не принимает в расчет художественный вымысел, мечты и надежды. Она гораздо ближе к естественным наукам и к математике. Реальность учит тебя, что если их трое – ражих детин с дубинками, а ты – хилый парнишка с гитарой, ни разу в жизни не дравшийся, то дела твои плохи. Никто и не говорил, что этот мир справедлив. А если говорил, то ошибался.

В них не было ни терпения, ни милосердия. Они набросились на меня, как звери, и первыми же ударами в лицо и живот свалили на землю, как тряпичную куклу. Я свернулся клубком по примеру насекомых и ждал, пока они перестанут. Но так легко я не отделался. Они били меня, пока я не перестал защищаться, кричать и шевелиться. Что случилось довольно скоро – кажется, я разочаровал их. Тогда они несколько раз ударили меня по спине гитарой, разбив инструмент вдребезги. Так же, как мою душу и мою гордость.

Пока они хохотали, один нагнулся и рывком сорвал у меня с шеи медальон. Я остался лежать в темноте грязного переулка, в окружении котов, избитый и окровавленный, теряющий сознание, лишившийся гитары, медальона, всего...

Жизнь преподнесла мне еще один важный урок.

Все тело вопило от боли – увы, я становился экспертом по этой части. Но сейчас хотя бы не шел снег и я был не в горах. Однако в остальном все было очень схоже: мне предстояло воскреснуть.

Я ощупал грудь в поисках медальона и убедился, что его нет. Я встал, дрожа от бешенства. Голова трещала. Я коснулся затылка, на руке осталась кровь. Гитара превратилась в кучку щепок.

Из двух рукавов остался один, лохмотья разодранной поперек рубахи свисали до земли. Ночь была теплой, и я наудачу побрел по улицам; вокруг раздавались крики и бормотание пьяных и визгливый, на грани истерики смех их подруг-проституток. По асфальту катались пустые бутылки, из темных закоулков доносились ругань и вопли. До меня никому не было дела, как и мне не было дела ни до кого. Я шел по городу, брошенному на произвол судьбы, где оставались лишь никому не нужные отбросы.

Как я скучал по звукам леса и гор, по стрекотанию сверчков и шепоту ночного ветра в кронах деревьев! Я вспомнил Хлою и порадовался, что она меня не видит. Я оказался настолько не героем, что сам себя ненавидел. Я даже ни разу не ударил ни одного из нападавших. В качестве хранителя медальона я оказался полным ничтожеством. Конечно, силы были неравны, но я попал в переделку по собственной глупости. Этот мерзавец Полито провел меня как младенца, и что хуже всего, он был прав. Я должен был послушаться внутреннего голоса. К несчастью, я понял это, только когда снова все потерял.

На улицах было темно. Похоже, Барселона погрузилась во мрак еще несколько месяцев назад. Как в прямом, так и в переносном смысле. А ночь – время чудовищ и хищников. Но мне было все равно, с меня уже нечего было взять.

Очередной раз свернув за угол, я очутился на знакомой улице. На своей улице. Сколько раз я гонял мяч по этим тротуарам! Прятался от дождя в этих подъездах. Я с трудом поднял голову и убедился в очевидном: я пришел. Не слишком ли многого я прошу, мечтая, чтобы отец был дома, в кресле, и стиснул меня в объятиях, едва я переступлю порог? Мне будет хотя бы с кем выплакаться.

Бомбардировки несколько месяцев назад сильно разрушили город. Какой-то снаряд разорвался рядом с моим домом, часть фасада обрушилась на тротуар. На груде обломков валя-

лись пропагандистские листовки. Очевидно, франкисты заручились поддержкой фашистских Италии и Германии. Как могли наши соотечественники позволить иностранцам бомбить наши города?! Налеты итальянской авиации были ужасны. Барселону использовали как испытательный полигон.

Среди мусора я узнал фрагмент лампы, стоявшей у нас в гостиной. Мама ее любила. Я собрал обломки и захромал вверх по лестнице. Чтобы войти в квартиру, я просто шагнул через порог, двери не было. Неужели война шла прямо у нас в гостиной? Не верилось, что раньше кто-то жил в этих четырех стенах. Точнее, трех с половиной. Обеденный стол чудом уцелел. Я нашел взглядом место, где в последний раз обнял отца, но, прежде чем окончательно сломаться и погрузиться в печальные мысли о своей судьбе, я заглянул на кухню в поисках еды. Естественно, ничего не было. Даже жалкой баночки сардин. Все выгребли подчистую.

В моей комнате оставались только голая кровать (матрац украли) и шкаф. Я открыл дверцу – шкаф был пуст, разумеется, – и потянулся к тайнику, где прятал свои сокровища. Достаточно было приподнять самую нижнюю полку. Я нащупал жестяную коробку. Новое разочарование: внутри лежала одинокая полурастаявшая шоколадка. Вид у нее был так себе, но я оголодал настолько, что сунул ее в рот. Через несколько мгновений от вкуса шоколада меня замутило, и я не успел даже встать, как меня вывернуло. Адски заныли ребра. Как будто без моей блевотины в доме было мало свинства и грязи. Еще не разогнувшись, я заметил что-то под кроватью. И тут же вспомнил, что это! Я улыбнулся: жизнь не только забирает, но иногда и дает.

Потянувшись, я достал свою старую гитару. Как она бесила меня в прошлом! А теперь вернулась, чтобы ободрить меня и напомнить, что если выжила гитара, если выжил я, то почему было не выжить и отцу?

Я приволок гитару в гостиную и прислонил к зеленому бархатному дивану, от прикосновения к которому все так же сводило челюсти. Как от скрежета вилки по тарелке или от скрипа ногтей нашей учительницы сеньориты Асунсьон по доске, когда она писала мелом. Я заметил, что комод в прихожей стоит нетронутый. Я стал выдвигать ящики, не надеясь хоть что-то найти, и действительно ничего не нашел. Обессиленный, я рухнул в кресло, но тут же с воем подскочил как ужаленный. Вот дерьмо! Я даже не мог откинуться в кресле, так изранена была спина. Я потащился в родительскую спальню. Матраца не было и там. Ящики комода выдвинуты. Из нижнего торчали старые одеяла, которые мать зачем-то хранила. Я сгреб их в охапку – они оказались тяжелее, чем я думал, – и отнес в гостиную, чтобы обустроить постель. Если я не могу лечь на кровати, то буду спать на полу. Какая разница? Что я, никогда не спал на земле? В одеялах я нащупал что-то твердое. Покопавшись, обнаружил тонкую голубую папку, которую никогда раньше не видел. Лежи она в другом месте, я не обратил бы на нее внимания, но раз ее так прятали, наверняка в нее стоило заглянуть. На первом листке были какие-то записи, сделанные от руки. Почерк был, без сомнения, отцовский: “Приор. С. А19. Барселона. Уругвай. М2. П4. К14”.

Я просмотрел остальные записи, но все было какое-то бессмысленное. Цифры и бессвязные предложения. Единственная более-менее понятная вещь – план, похожий на архитектурный чертеж. И наброски огромного корабля. Неужели отец сел на корабль и уплыл в Уругвай?

Голова раскалывалась, хотелось лечь и закрыть глаза. Я поглубже зарылся в одеяла так, что только несколько вихров торчали наружу. Одеяла были пыльные, но их запах тут же перенес меня в прежнюю жизнь, когда все было легко, а мать с любовью развешивала выстиранную одежду у меня за окном.

Казалось, целая жизнь прошла с тех пор, как я расстался с Хлоей, и две жизни – с тех пор как мы с матерью бежали из дома.

Бедная мама... Сколько бы жизней ни прошло, я не мог забыть, как она лежит на снегу. Я все бы отдал, лишь бы она была рядом, ерошила мне волосы и напевала что-нибудь своим

ласковым голосом. Но ее не было, и единственное утешение я находил в том, что никто больше не причинит ей вреда. И она не страдает, глядя на меня сейчас. Теперь страдал только я. Но это было неважно. Уже нет. Наконец я был дома. Вернулся туда, где начало всего... Всего этого дерьма, случившегося позже.

Я закрыл глаза и впервые за долгое время уснул в облаке воспоминаний.

5. Мир, сострадание и прощение

За месяц отчаянных попыток выжить на улицах Барселоны я осознал слова мерзавца Полито: “Ты сирота, и вокруг война. Поверь мне, приятель, тебе нужны деньги. Тебе и с деньгами-то придется хреново”.

Барселону было не узнать. Окончательно установилась летняя жара, и вонь на разрушенных улицах сделалась нестерпимой. Мои раны зарубцевались, хотя некоторым шрамам суждено было остаться на всю жизнь в качестве напоминания, что люди по природе злы.

Днями напролет я, скрестив ноги, сидел на улице возле перевернутой кепки и играл на гитаре. Иногда удавалось заработать несколько монет и купить хлеба и каких-нибудь овощей. За день я видел больше ботинок, чем лиц, и обнаружил, что если глаза – зеркало души, то ботинки – это практически сама душа.

Ботинки похожи на людей. Они бывают чистые и грязные. Отмерившие сотни километров и едва вышедшие в мир. Неудобные, тесные, оставляющие кровавые мозоли – и мягкие, подходящие, точно впору. Те, что продолжают путь, даже если будут разваливаться на части, и те, что на вид одно, а на деле – совсем другое, щегольские туфли и башмаки побродяжек... Всех и не перечислить, и каждая пара многое может рассказать о своем владельце...

Времена были непростые, люди стали прижимистей, но хотелось и отвлечься, и некоторые останавливались дослушать песню, а если находилась монетка, мои труды вознаграждались.

Я сочинял песни почти обо всем. О своих чувствах, убеждениях, надеждах. Были у меня и нахальные песни, и нежные, искренние и не очень, но чаще всего я пел о Хлое. Хотя никогда не исполнял на публике нашу песню. Она предназначалась только для Хлои и для моих одиноких ночей.

Мое любимое место было на углу отеля “Мажестик” на бульваре Грасия. Этот район пострадал меньше остальных, в тамошнем воздухе еще витали остатки благополучия. “Мажестик” был роскошной гостиницей, где останавливались немногочисленные посетители города. В основном репортеры, военные корреспонденты, почетные гости или те, кто оказался здесь проездом...

Дежуривший по выходным администратор меня невзлюбил, и стоило показаться у входа, как он угрожал вызвать полицию. Какую полицию? Будто полиции нечем больше заняться, кроме как гонять нищего музыканта. Но в гостинице была своя служба охраны, и если я спорил, появлялись двое неприятных типов, которые угрожали отобрать весь мой заработок, поскольку, по их словам, эти деньги принадлежали постояльцам.

Я легко относился к подобным дразгам. Они были частью моей жизни. Я продолжал играть возле “Мажестика” – место не самое людное, но тем не менее доходное. Тем, кто приезжал в Барселону ненадолго, жаль было бедолаг, оставшихся в городе. Им ничего не стоило бросить мне пару монет, прежде чем сесть на корабль или на самолет и отбыть на родину. К тому же местные деньги уже не пригодятся в других странах, так почему бы не отдать их.

Я заметил, что люди делятся на два типа: одни бросают монетку ради тебя, чтобы облегчить твою участь, а другие – ради себя, из самодовольства. Вторых было большинство, но, честно говоря, мне было неважно, по какой именно причине наполняется моя кепка. А особенно я любил, когда люди останавливались послушать. Некоторые даже просили спеть песню еще раз. И я видел, как одни и те же ботинки раз за разом отбивают ритм носком или каблуком.

Если очень хотелось есть, я отправлялся в другое место и устраивался напротив бакалейной лавочки Кастело. Это было даже ближе к дому. Когда-то мы приходили сюда с мамой за фасолью, колбасой и консервами. Сеньор Кастело был порядочно старше моего отца и производил впечатление человека серьезного и недружелюбного. Может, из-за пышных усов, мешав-

ших понять, не улыбается ли он. Впрочем, другие приметы обычно указывали на то, что нет, не улыбается. Зато улыбка всегда играла на лице его жены, доньи Пепиты. Донья Пепита была так широка, что, наверное, могла пройти только в двустворчатую дверь, и с сильными руками – сильнее, чем у сеньора Кастело, – но отличалась добродушием и легким нравом. Донью Пепиту все любили.

В первый же раз, когда я сел играть на тротуаре напротив, она подошла сказать мне пару ободряющих слов. Когда я поднял глаза, лицо ее исказилось горестной гримасой: она узнала меня. Она помнила и меня, и маму. Больше маму. О маме она говорила так, будто я не был с ней знаком. Но это было неважно. Возможно, способность пробуждать в людях такого рода чувство и отличает живых от мертвых. С того дня, если живот сводило от голода, я приходил туда, и стоило мне сыграть несколько песен, как донья Пепита, смахивая слезинку, выносила мне заботливо приготовленный бутерброд.

– А кто эта девушка из песни? Она правда живет в горах?

Более того, словоохотливая донья Пепита вскоре рассказала всем покупательницам, кем была моя мама и какой хороший мальчик я сам. Некоторые женщины, растроганные ее слезами, угощали меня чем-нибудь, выйдя из лавки, или давали монетку-другую со сдачи. Так что дела мои могли быть и хуже. В некоторых районах города люди умирали от болезней или истощения прямо на улицах.

Когда начинало вечереть, я возвращался домой. Дыру в стене гостиной я закрыл шторами и простынями. Они не спасали от сильного ветра, но поскольку погода стояла мягкая – единственное, что у нас еще оставалось хорошего, – замерзнуть я не боялся. Еще я навел в квартире порядок, чтобы она обрела жилой вид, как раньше. В ней многого не доставало, зато теперь можно было смотреть по сторонам почти без отвращения.

Заработанные деньги я складывал в жестяную коробку. Я копил на Уругвай. Постепенно эта идея обрела ясные очертания. Если накоплю достаточно, куплю билет, пересеку Атлантику и найду отца. Конечно, на билет денег пока не было, но даже если бы и были... Что потом? С чего начать? А там, в Уругвае, что? Нужны будут деньги еще на еду и ночлег, на поиск информации, на транспорт... Мне предстояло путешествие на край света, нельзя было предпринимать его с пустыми руками.

С одной стороны, столь масштабный замысел вызывал у меня тревогу, с другой – я с нетерпением ждал дня, когда пушусь в странствия. Вечерами я читал. Из дома вынесли все, но книги оставили, за что я был ворами очень благодарен. Жюль Верн вдохновлял меня. Если его герои могли преодолеть испытания и добиться своего, почему же я не смогу? Я засыпал над книгой, и мне снились далекие горизонты, экзотические страны, бескрайние моря и испанские горы.

Теперь моей любимой книгой стали “Дети капитана Гранта”. Брат с сестрой путешествуют по миру в поисках отца, которого все считают погибшим. Но у них есть приблизительные координаты, а некоторые персонажи оказывают им неоценимую помощь, в то время как у меня никого и ничего нет. Только лист бумаги с непонятными словами, буквами и цифрами, которые я уже выучил наизусть: “Приор. С. А19. Барселона. Уругвай. М2. П4. К14”.

Каждый день я перечитывал эти указания, надеясь заметить что-то такое, что раньше ускользало от моего внимания. А пока я строил планы однажды отправиться в Америку, мой город потихоньку пустел. Многие умерли, многие уехали. Поражение защитников Республики казалось неизбежным, хотя и не всем. Даже в этом люди не могли договориться. Республиканцы еще делились на два лагеря: одни были готовы бороться до последней капли крови, а другие стремились к миру любой ценой. Думаю, я принадлежал ко вторым – в основном потому, что не испытывал ни малейшего желания брать в руки оружие и идти убивать людей, которые ничего плохого мне не сделали. Если собираешься убить человека, для начала надо хотя бы познакомиться с ним, просто из вежливости.

Помню, я сидел возле лавки сеньора Кастело, перебирая струны, когда мной вдруг овладело странное чувство. Будто я остался один во всем мире. Улица словно вымерла. Конечно, она никогда не была очень оживленной, но какая-то жизнь обычно чувствовалась. Я задумался, какое сегодня было число. 18 июля, не праздник, обычный день. Я вдруг понял, что не слышу ни громкого голоса доньи Пепиты, ни звона дверного колокольчика. Покупатели не показывались. Окна домов были открыты, но и оттуда не доносилось ни звука. Я тронул струны – просто чтобы понять, не оглох ли. Очевидно, тишина эта была неспроста. И поскольку я дал себе слово никогда больше не игнорировать интуицию, я встал и зашел в магазин:

– Донья Пепита? Сеньор Кас...

– Тсс!

Над собравшимися внутри людьми плыл мужской голос, но из-за его несколько металлического тембра и радиопомех я не мог разобрать ни слова.

– Асанья, – сказал кто-то.

– Кто?

– Тсс! – шикнула какая-то женщина почти с ненавистью.

Признаюсь, я не очень следил за новостями. Зачем? Самые последние новости я ежедневно наблюдал своими глазами. Мне не нужен был здоровенный лист бумаги, чтобы узнать, что происходит. Тем более было очевидно: каждый льет воду на свою мельницу. Но если совсем честно, больше всего я не любил газеты, потому что не умел их сворачивать. Другое дело книга: страницы легко перелистываются, не загибаются, не вылезают и не теряются. Когда я смотрел, как отец, еле видный за испещренными мельчайшими буквами листами бумаги, пытается перевернуть страницу, мне хотелось ее поджечь, эту газету.

– Кто такой Асанья? Важная птица?

– Тсс! – зло шикнула та же женщина, сопроводив звук жестом, каким обычно с кухни прогоняют собаку.

Я замолчал, но не из-за нее, а из-за остальных. И стал прислушиваться.

Речь шла о войне между испанцами, и говорящий призывал положить ей конец и объединиться. Все уже почти час слушали это выступление, я застал только самый конец:

“Но моральное обязательство, и прежде всего моральное обязательство тех, кто страдает от этой войны, состоит в том, чтобы, когда она закончится, как мы того желаем, извлечь из этого опыта, из этой горькой науки максимальную пользу, и когда наш факел подхватят новые руки, новые люди, новые поколения, если кровь их вскипит однажды гневом и испанский дух воспламенится вновь ненавистью, нетерпимостью и жаждой разрушения, пусть вспомнят они о погибших и выслушают их урок – урок людей, явивших величие духа, павших в яростной битве за величественный идеал, которые сейчас, укрытые матерью-землей, уже не ведают ни ненависти, ни злобы и, посылая нам лучи света, спокойного и далекого, как свет звезд, передают послание вечной родины, говорящей всем своим детям: мир, сострадание и прощение”⁸.

Гром аплодисментов донесся из Городского совета Барселоны, где произносилась эта речь; радиоприемник, казалось, взорвется. Собравшиеся в магазине растерянно переглядывались.

– Сострадание и прощение? – произнес крепкий мужчина, явно разочарованный услышанным.

– И еще мир, – подчеркнул сеньор Кастело. – Разве не этого мы хотим?

– Хотеть-то хотим, но... какой ценой?

– Любой! – вмешался кто-то.

– Дерьмо какое-то, – мрачно подытожил первый и вышел.

⁸ Конец знаменитой речи, произнесенной Мануэлем Асаньей Диасом, президентом Второй испанской республики в годы Гражданской войны в Испании, 18 июля 1938 г. в Барселоне и призывающей всех испанцев к примирению.

Люди стали расходиться. Пряча радио под прилавок, сеньор Кастело озабоченно посмотрел на меня:

- А тебе чего?
- Ничего, сеньор... Я только...
- Может, пойдешь споешь на улице?
- Я... я думал, вам не нравятся мои песни...
- Еще меньше мне нравится, когда ты торчишь здесь.
- Хорошо, сеньор.

Я уже повернулся к выходу, когда он вдруг спросил:

- А ты что думаешь про речь Асаньи?
- Я... я не знаю.

Сеньор Кастело никогда со мной не разговаривал. Только смотрел издали, хмуро опустив одну бровь.

- У тебя нет идеалов?
- Идеалов?
- Во что ты веришь. – Сеньор Кастело был из тех уникамов, что могут болтать ни о чем с очень сердитым видом.
- Ах да. Конечно, есть.
- Вот и отлично. Какие бы они ни были, не вздумай идти на эту войну, о которой все говорят. Ясно?
- Д-да, сеньор, конечно.
- Хорошо. Потому что кончится это тем, что будешь в Эбро⁹ рыб кормить.
- В Эбро?

Я так растерялся, что сеньор Кастело вышел из-за прилавка:

– Послушай, парень... Хочешь, борись за свои идеалы, но не надо за них умирать, ясно? В смерти нет никакого смысла, для жизни она совершенно бесполезна.

После этого он легонько, но решительно подтолкнул меня к выходу. Я стоял на улице, осмысляя произошедшее. И вот к чему пришел: во-первых, сеньор Кастело беспокоится обо мне больше, чем можно было подумать; во-вторых и чуть ли не в-главных, он слушает мои песни. Однако он так и не улыбнулся.

Из-за выступления Асаньи многие занервничали. Особенно те, кто не жаждал ни мира, ни сострадания, ни прощения. Ситуация усугубилась, как будто для того, чтобы настала благословенная тишь, сначала должна была пронестись буря.

Республиканские лидеры злились, их стали раздражать умеренные настроения. Власть ускользала у них из рук, и на каждом шагу им стали мерещиться предатели. Если раньше власти называли дикарями и анархистами, теперь ее представителей стали звать убийцами. Всего через два дня мне предстояло убедиться в этом самому.

Было пасмурное утро. Черный автомобиль резко затормозил у магазинчика сеньора Кастело. Визг тормозов испортил мне кульминацию песни. Из автомобиля вылезли четверо вооруженных мужчин бандитского вида и вошли в лавку. Прохожие опустили глаза и ускорили шаг.

Сеньора Кастело вытолкали на улицу под крики доньи Пепиты. Ее выволокли тоже. Обоих швырнули к стене у магазина, к виску сеньора Кастело приставили пистолет. Донья Пепита рыдала и молила о пощаде, повторяя снова и снова, что им нечего скрывать, что они за Республику. Но казалось, что незнакомцам на это плевать. Им и на Республику было плевать. Просто распоясавшиеся юнцы, дорвавшиеся до власти.

⁹ Эбро – река на северо-востоке Испании. В ходе Гражданской войны летом и осенью 1938 г. на Эбро шли упорные бои.

Я встал и перекинул гитару за спину. Я столько уже повидал, что дошел до предела. Устал быть безмолвным свидетелем. Устал, что горстка грязных бандитов считает себя вправе творить что вздумается просто потому, что ввязалась в войну и теперь проигрывает. Наверняка эти ребята раньше были батраками, чувствовали себя униженными и обездоленными и теперь вымещали злость на первом встречном человеке, у которого было хоть что-то свое.

Я подошел к ним. Двое караулили сеньора Кастело и донью Пепиту на улице, еще двое громили магазин.

– В чем дело? – спросил я.

Тот, что держал на прицеле сеньора Кастело, только растерянно оглянулся, но другой тут же выхватил пистолет и наставил на меня. Очевидно, он был главарем – или претендовал на эту роль.

– Жить надоело, сынок? – У самого пушок над губой едва пробился, а уже зовет меня “сынок”.

– Нет.

– Тогда убирайся, не зли меня.

– Конечно, сеньор.

Донья Пепита смотрела на меня в ужасе, явно желая, чтобы я скорее ушел.

– Я только хотел сказать, что эти люди не предатели.

Бандит зло посмотрел на меня:

– А ты почему знаешь? Вши твои рассказали?

Его товарищ ослабился.

– Просто знаю. Мы знакомы.

– Жизнью поклянешься?

– Не люблю клятвы.

Он схватил меня за плечо и неожиданно сильно впечатал в стену. Навалился всем телом мне на спину, прижал мою голову к облупленной штукатурке:

– Хочешь, чтобы я засунул гитару тебе в задницу?

– Нет, сеньор, – с трудом ответил я.

– Провоцировать меня вздумал?

– Нет, сеньор, – повторил я.

В этот момент двое других вышли из лавки, жуя что-то, – разумеется, они не заплатили.

– Там ничего нет.

– А вот здесь у меня, кажется, кое-что есть, – сказал главарь, по-прежнему прижимая мою голову к стене.

– Что с этими делать?

– К стенке их. И этого, – бросил тот, наконец выпуская меня.

Мы с сеньором Кастело и доньей Пепитой оказались на том самом месте, где я обычно сидел с гитарой. Моя кепка еще валялась на тротуаре. Ее перевернули пинком, жалкие монеты покатались по улице. Донья Пепита умоляла:

– Нет, нет, пожалуйста! Мы же ничего не сделали!

– Заткнись, жирдяйка!

– Отпустите жену.

– Никто никого никуда не отпустит.

– Эй! (Это мне.) Оставь гитару.

Я прислонил гитару к стене, как было сказано. Мы стояли на тротуаре, глядя на этих подонков, которые явно наслаждались своей властью. Соседи со страхом и любопытством выглядывали из окон. Прохожие, увидев происходящее, поворачивали обратно или ныряли в ближайший подъезд. Наши судьбы были нам неподвластны, как и слезы, катившиеся из глаз доньи Пепиты.

Главарь отдал короткий приказ, его дружки прицелились. Один из них, дрожа, все оглядывался на командира.

– Эй, – крикнул тот нам. – Лицом к стене, черт вас дерит!

Забавно. После всех перипетий я умру, расстрелянный четырьмя негодяями, глядя на печальную, утратившую свою белизну стену. Самое странное, что мне было все равно. Я голодал, копил гроши – мне было плевать. Может, выстрел прекратит наконец мои мучения.

– Трусы! – крикнул сеньор Кастело. Потом взглянул на меня, и я впервые увидел улыбку за его усами: – Спокойно, сынок. Будь мужчиной.

Я кивнул, а сеньор Кастело обратился к жене:

– Я люблю тебя, Пепа.

– Товьсь...

– Убийцы! – донеслось из ближайшего окна.

– Трусы! – подхватили соседи.

– Цельсь...

Я вдохнул полной грудью. Я гордился собой. Мне нечего было стыдиться. На память пришла Хлоя. Мои последние мысли будут о ней. Жаль: она подумает, что я забыл ее. Она никогда не узнает, что со мной случилось.

– Пли!

Я стиснул веки. Раздались выстрелы, я почувствовал, как пуля ударила в спину. Дыхание перехватило. Я упал на колени. Донья Пепита рухнула как подкошенная, но сеньор Кастело устоял, хотя колени его дрожали.

Палачи расхохотались на всю улицу. Громче всех смеялся главарь. Я не успел ничего понять, как грудь моя снова наполнилась воздухом, я задышал. Боли не чувствовалось, только слегка – там, где пуля ударила в тело. Я был уверен, что это адреналин мешает мне осознать происходящее, и думал, что вот-вот упаду. Но тут я услышал, как бандиты сели в автомобиль и уехали так же внезапно, как приехали.

Почему я еще не умер? Неужели это так долго? Я посмотрел на донью Пепиту и удивился, не увидев крови. Сеньор Кастело попросил помочь занести ее в лавку. Он говорил обычным голосом, хотя был явно потрясен. А я? Я не шевельнулся. Я видел все словно в замедленной съемке, какой-то гул размывал остальные звуки. Включая смех главаря, по-прежнему отдававшийся у меня в голове.

Вокруг стали собираться соседи. Все хотели помочь. Меня подняли, но я не держался на ногах, и какие-то люди отвели меня в лавку. Таким же образом помогли сеньору Кастело и донье Пепите. Нас усадили на стулья за круглый столик в углу. Люди возбужденно переговаривались, делясь ненавистью к “мерзавцам”. Судя по всему, те не впервые проделывали этот номер.

– Моему двоюродному брату устроили то же самое на Виа-Лайетана¹⁰, – сказал кто-то. – Шел с друзьями из таверны, бедняга. Один после этого умом тронулся, да и остальные еще не оправались.

– Нет такого права!

– Чего у них нет, так это совести. Дикари!

Какой-то мужчина подошел ко мне почти вплотную и пригляделся. У него были до смешного маленькие круглые очки, а дышал он таким перегаром от бренди, что свалило бы и лошадь.

– Это гитарист, – сказал он. – Играет иногда возле нашего дома. Дочка обожает его песни.

– Почему его схватили вместе с Кастело?

– Не знаю. Сам полез, наверное.

¹⁰ Улица в Барселоне.

– Бедный дурачок...

Разговор доносился откуда-то издали, будто все это было не со мной.

– Эй, приятель. Слышишь? – Любитель выпивки подошел так близко, что я ощутил вкус бренди. Судя по жестам, он похлопывал меня по щекам, но я ничего не чувствовал. Мысли ворочались с трудом. По спине бежал холодный пот, я едва держался на стуле.

– Дайте ему глоточек.

Кто-то принес с прилавка бутылку. Тип в очках зубами вытащил пробку, стиснул мне пальцами челюсть, отчего рот у меня открылся, и влил жидкость, как в воронку. Я закашлялся, отплеываясь, как если бы проглотил целый океан. Целый океан плающего и горького огня.

– Хорошо. Пришел в себя, кажется.

Так и было. Холодный пот мгновенно высох, теперь меня жгло жаром.

– Что... что случилось?

– Не помнишь?

– Меня убили...

– Да, можно и так сказать, – кивнул тип в очках.

– Я умер?

– Нет. Это шутка, малыш. Жуткая до чёрта, но, в конце концов, всего лишь шутка.

– Шутка? – В голове по-прежнему был хаос, и я почему-то знал, что мне нужно говорить, говорить, иначе я никогда не выберусь из той дыры, в которую провалился.

– Сначала ставят к стенке, потом стреляют в воздух, а кто-нибудь бросает тебе в спину камень, как будто это пуля.

– В меня не выстрелили?

– Строго говоря, нет.

– А донья Пепита?

– Упала в обморок. Бывает.

– А сеньор Кастело?

– Еще не оправился от потрясения.

– Господи... Я думал, нас убьют.

Мой собеседник развел руками:

– Все так думали. Может, у них оказалась кишка тонка. А может, хотели поразвлечься...

В любом случае главное, что ты жив.

Какая-то девочка протискивалась сквозь толпу с моей гитарой и кепкой.

– Амайя, я же велел идти домой, – строго сказал ей мужчина в очках.

– Но я увидела гитару, папа, и...

Девочка ласково взглянула на меня и протянула гитару, кепку и три монетки.

– Спасибо, – сказал я, заново обретая себя.

– Мы всегда тебя слушаем с балкона. Я попросила у папы гитару на день рождения. В следующем месяце мне будет одиннадцать.

– Амайя, детка, иди домой к маме.

Я встал на ноги, голова слегка кружилась. Постепенно восстановилось равновесие. Донья Пепита по-прежнему лежала на полу, а сеньор Кастело сидел на стуле с отсутствующим, потерянным видом. Окружающие наседали на него с расспросами, пытаясь вернуть назад, но найти дорогу было непросто. Я уже в этом убедился. Возвращение зависело от решения, принять которое следовало за доли секунды. Готов ли ты к тому, что возвращение причинит боль, или предпочтешь забыться и потеряться навсегда. Я нашел обратный путь, понимая, что у меня осталось всего четыре жизни. В свои шестнадцать лет я уже истратил три. Я никогда не был силен в математике, но этого и не требовалось, чтобы заметить: такая статистика не сулит мне ничего хорошего.

После “расстрела” я старался реже появляться в том районе. Люди начали узнавать меня на улице, а мне комфортнее было в неизвестности. Дела шли лучше, когда я жил подобно призраку, так что я почти всегда избегал разговоров и вежливо отказывал, если просили сыграть что-нибудь на заказ. И все равно люди были добры ко мне, иногда угощали съестным или отдавали что-нибудь из одежды своих сыновей, ушедших на войну.

Сеньор Кастело оправился после истории с бандитами, но донья Пепита изменилась навсегда. Что-то погасло в ней. Она по-прежнему улыбалась покупателям, была любезна, но уже не лучилась жизнью, силой, некогда защищавшей ее. Теперь, завидев на улице, меня чаще догонял и угощал чем-нибудь сеньор Кастело. Я отнекивался, зная, что они с трудом сводят концы с концами, но он настаивал, и я понимал, что порадую его, если приму подарок. При этом губы его по-прежнему не улыбались, но вечно усталые глаза прищуривались, и от них разбегались морщинки, отчего он казался старше.

Именно сеньор Кастело уговорил меня пойти работать к его брату, другому сеньору Кастело, которого я вскоре стал называть “шефом”. Первому сеньору Кастело не нравилось, что я целыми днями слоняюсь по улицам, как бродяга, и он договорился с братом, что тот возьмет меня к себе. Он так все устроил, что я подвел бы его отказом. К тому же мне нужны были деньги, и работа была посильная, не предполагавшая общения с людьми. Я заканчивал в два, так что потом мог еще играть на гитаре и побольше откладывать на поездку в Уругвай.

Где я работал? На кладбище. Кем? Могильщиком.

6. Первые два метра

Быть могильщиком не так уж плохо. Как говорили мои новые друзья, бояться надо живых. И они были правы, потому что среди могил я чувствовал себя намного спокойнее, чем среди людей.

Моего старшего напарника – сам он предпочитал называть себя моим “партнером на балу” – звали Томеу. Он больше тридцати лет проработал на кладбище и всякого навиделся. Он закопал тысячи покойников и откопал не меньше. Он беспрестанно сыпал мрачайшими шутками, и я пришел к выводу, что на такой работе без черного юмора долго не продержишься.

Кладбищенские работники в основном не отличались религиозностью и порой так костерили небеса, что странно было, как они не провалятся немедленно в ад. Таких ругательств я еще не слыхивал. А если бы сказал что-нибудь подобное при маме, то все свои оставшиеся четыре жизни провел бы в наказание в своей комнате. Эти люди всякого насмотрелись, и со временем я тоже научился спокойнее относиться к некоторым аспектам смерти. Она перестала быть для меня табу и превратилась в занятие, за которое, кстати, неплохо платили.

Первые дни были самыми трудными. Но это почти везде так. Я увидел разные реакции на потерю близких и понял, что страдают лишь живые. В этом я и сам уже убедился на опыте.

Томеу знал всех посетителей кладбища и почти никого не щадил. Он потешался над теми, кто скорбно умолял содержать могилу в порядке и убирать засохшие цветы, хотя цветы эти появлялись там от силы дважды в год – на годовщину и в день, который Томеу называл Международным днем ханжества, то есть 1 ноября¹¹, когда кладбище вдруг становилось похоже на бульвар Рамблас и сотни одетых в черное людей, *убитых горем*, несли цветы на могилы близких.

Практически первым делом я выкопал могилу для мамы. Я не мог похоронить ее тело, его забрали горы, но я мог где-нибудь сберечь память о ней. Я похоронил кое-что из ее вещей. Драгоценности не сохранились, да их у нее почти и не было. Я взял кое-какую одежду и кастрюлю, в которой она тушила мясо. Стоило мне вспомнить ароматы, наполнявшие дом, когда мама готовила, как начинали течь слюнки. Я так по ней тосковал...

Я похоронил вещи вместе с письмом, которое написал маме. Сделал деревянный крест, вырезал на нем имя – после того как меня побили, я стал носить с собой нож.

– Какого черта ты здесь делаешь? – Томеу незаметно подошел сзади. Несмотря на возраст, он двигался как кошка.

– Я... я... – Я попытался закрыть собой крест.

– Лучше признавайся, не то позову шефа.

– Это я маме... – сказал я обреченно. Эти слова, произнесенные вслух, словно обожгли меня изнутри.

– Дай-ка посмотреть. – Взгляд Томеу смягчился, он отодвинул меня в сторону и увидел могилу и крест. – Ты выкопал два метра, как я тебя научил?

– Да.

– Несмотря на то что там нет тела?

– Да, – ответил я робко.

– Хорошо... – пробормотал он, почесывая седой щетинистый подбородок. – Но деревянный крест никуда не годится. Я учил тебя гравировать камень?

– Нет, сеньор, не учили. Но все равно у меня нет денег на каменный памятник, и...

¹¹ 1 ноября в католическом календаре – День всех святых. В Испании в этот день принято приводить в порядок могилы родственников.

– Я тебе не сеньор. И называй меня на “ты”. Пойдем. На складе всегда найдется плита, забракованная по какой-нибудь идиотской причине.

Мы нашли гранитную плиту. Она была почти целая, не считая сколотого угла. Просто идеальная. Гораздо лучше деревянного креста. Это уже было более достойно такого человека, как моя мама.

Томеу объяснил мне, как работать с гранитом. Я быстро все усвоил. Но когда я подошел к камню, Томеу удержал меня:

– Пстой, Гумберт, пстой! Хорошенько подумай. То, что высечено в камне, останется навсегда.

– Гомер, – поправил его я. Он никак не мог запомнить мое имя.

– Да, да, как скажешь... Иди домой и отдохни. Подумай, какую эпитафию ты напишешь.

– Эпитафию? Что это?

– Пф, откуда ты такой выискался? Эпитафия – это то, что ты напишешь на могиле.

– Я хотел просто имя написать.

– Кто-то пишет имя, кто-то оставляет послание, кто-то прощается, кто-то сопли пускает, а кто-то плюет... Подумай, Гумберт, подумай хорошенько.

– Гомер.

– Да-да, как скажешь. Завтра сделаем гравировку и установим плиту.

– А шефу вы не будете говорить?

– Если он не спросит, то нет.

Тот так и не спросил, и Томеу так и не сказал. На следующий день я уже знал, что хочу высечь в камне навсегда.

Полдня я провел за работой. Время от времени заходил Томеу и смотрел, как я продвигаюсь. В целом все шло неплохо, хотя старик посмеивался над моей черепашьей скоростью. Я боялся, что плита расколется или треснет. Отбитый угол внушал мне опасения.

Наконец я с помощью Томеу, не спускавшего с меня глаз, на тележке отвез памятник к могиле. Убрал деревянный крест, выкопал глубокую канавку, как Томеу научил меня, и установил камень. Закончив, я с гордостью осмотрел результат. Старик похлопал меня по плечу:

– Хорошая работа, парень. Ей точно нравится.

– Спасибо, Томеу.

Я остался один у могилы матери. Теперь мне было где говорить с ней, а ей было где меня слушать. Теперь уж ветер не унесет мои слова. Ветер... Я не мог не думать о ней даже у могилы матери. Я провел рукой по камню и по гравировке. Я простился, и мне захотелось, чтобы отец был рядом. Знаю, он гордился бы мной.

С кладбища я уходил с грустью, но и с некоторым облегчением, оставляя за спиной последнее прости, навечно высеченное в камне:

Аурора Ромеро

7 апреля 1895 – 8 января 1938

Поэзия – это ты

С того дня мы подружились с Томеу, он стал моим единственным другом. Мы никогда не встречались вне кладбища, но внутри ограды он заменял мне семью. Думаю, что мое одиночество пробудило в нем инстинкт защитника, хотя он и продолжал называть меня Гумбертом. Иногда мне казалось, что он это нарочно.

Однажды на кладбище я встретил знакомых. Моя тетушка Тереса, мир ее праху, говаривала: “Мир тесен, не больше носового платка, – а мы на нем, безусловно, сопли”. Хоронили молодую девушку, лишь немногим старше меня, умершую от какой-то редкой болезни. Потом я узнал, что болезнь была врожденной и бедняжку никогда не выпускали на улицу, так что

саму девушку я точно не видел, а вот ее дядю и других родственников иногда встречал. На похоронах было много людей, все в черном, как вбóроны, отдающие дань смерти.

Томеу рассказал мне, что в Древней Греции покойнику на глаза клали монеты, чтобы он мог заплатить Харону. Две монетки гребцу, что переправит тебя в царство мертвых. Но я никогда не мог понять, на кой черт нужны эти монетки потустороннему лодочнику?

Семья девушки знала и сеньора Кастело, благодаря чему шеф выделил один из лучших – предположительно – участков на кладбище. Пока я сгребал листья, ко мне подошел дядя покойной и мягко попросил сыграть что-нибудь на гитаре. Сам он никогда меня не слышал, но весь район с восторгом отзывался о моем умении выразить чувства музыкой. Мать девушки, его вдовая сестра, слышала меня не раз и послала спросить. Они застали меня врасплох, но я не мог отказать.

Вся семья собралась у могилы в окружении друзей и соседей. В основном я копал могилы для стариков и взрослых людей, теперь же пришлось для ровесницы.

Томеу был против того, чтобы я играл, говоря, что это не наша работа и не входит в обязанности. Я спорил, мы поссорились. Время и опыт учат беречь себя и ограждать от чужой скорби, но это сложно осуществить подле бездыханного тела молодой девушки и ее рыдающих родственников. Сейчас я понимаю, что Томеу хотел защитить меня от страданий, а я был так упрям, что не послушал его.

Я поспешил в главную сторожку, где хранил свои вещи. Гитару я всегда брал с собой, не желая оставлять в квартире, где даже дверей не было. Ее, в отличие от жестяной коробки с деньгами, я не мог засунуть в тайник под шкафом. А кроме того, никогда не знаешь, где и когда придется играть.

Запыхавшись, я прибежал в сторожку – не хотел, чтобы меня ждали, – и мне стало жаль гитару, одиноко лежащую взаперти, словно я мешал ей исполнять свое предназначение. Каждому в жизни нечто поручено – то, что мы должны делать просто потому, что нам это по силам. Ее долгом было петь, а моим – помогать ей.

– Сегодня ты должна рыдать как никогда, подруга. – Иногда я разговаривал с гитарой. Мы столько времени провели наедине, что я обращался с ней как с человеком. Словно она могла вобрать в свой деревянный корпус мои страдания, а потом извергнуть их через струны. Да, я не относился к покойникам как к живым, но гитара была для меня живой.

Я торопливо вернулся к могиле и встал напротив собравшихся. Нас разделяла лишь прямоугольная двухметровой глубины яма, которую я выкопал утром. Когда копаешь, хуже всего, если попадают камни, но, как говорил Томеу, “у нас на пути сплошные камни, даже и после смерти”.

Я отвел глаза, чтобы не встречаться взглядом с матерью покойной, и стал смотреть на дядю, ожидая знака. Тот еле заметно кивнул с горькой, но тем не менее ободряющей улыбкой. Я заиграл одну из песен, посвященных маме. Она показалась мне самой уместной. Песня была медленная и нежная. В ней говорилось о прощании с прошлым – прощании, полном благодарности за то, что осталось после ухода. Боль перерождалась в надежду и новую радостную встречу, в новые истории.

Ноты соскальзывали с корпуса гитары и кружились вокруг. Я чувствовал, что меня никто не слушает и вместе с тем слушают все. Плач матери и бабушки вдруг попадал в мелодию, не нарушая ее. Я поймал себя на мысли, что мне нравится, как переплетаются наши голоса, и устыдился. Я играл и играл, не думая заканчивать. Время от времени я взглядывал на дядю покойной, надеясь, что он подаст мне знак.

Не знаю, музыка ли так подействовала или траурная обстановка в целом, но в конце концов мы все стояли в слезах. Я замолчал, поняв, что ни у кого не останется сил или желания попросить меня об этом. Дядя девушки благодарно кивнул. Я почтительно поклонился и оста-

вил их наедине с их болью. Все это было тяжело, очень тяжело, и я поклялся, что пою на похоронах в последний раз.

Чуть позже, когда я катил тележку с горой земли и красноватых опавших листьев, бросив поверх грабли и лопату, ко мне подошли дядя покойной, мать и бабушка. Мать заговорила первой:

– Это было прекрасно. Как тебя зовут?

– Гомер, сеньора.

– У тебя талант, Гомер.

– Спасибо, сеньора.

Я взглянул на несчастную женщину: она едва стояла на ногах и упала бы, если бы не сильные руки брата. Мне было от души жаль ее, и я представил, как безутешно рыдала бы моя мама, если бы в одной из этих могил лежал я.

– Мои соболезнования, сеньора. Обещаю, я присмотрю за вашей дочерью.

Она подняла на меня красные, опухшие от слез глаза и с материнской нежностью погладила по щеке дрожащей рукой. Я так тосковал по этой ласке, по любви...

– Болезнь не давала ей выйти из дома... – женщина печально улыбнулась, – но потом появился ты со своей гитарой... Она слушала тебя, сидя у окна, знаешь? – Новый приступ рыданий, брат обнял ее крепче. – А когда тебя не было, она ждала, зная, что рано или поздно ты все равно появишься. Это было лучшее событие дня. Она говорила, что своей музыкой ты лечишь ей душу, готова к... – Тут силы окончательно изменили ей.

– Я каждый день буду играть для нее, – сказал я, не подумав о последствиях. Но тогда я не мог поступить иначе.

Женщина растроганно посмотрела на меня:

– Благослови тебя Господь, сынок... благослови Господь...

Брат положил ей руку на плечо и сглотнул. Потом похлопал по плечу меня, и они удалились в еще более расстроенных чувствах, чем до нашего разговора. Они направились к выходу, оставив позади девушку и гору пестрых цветов, которые, подобно ей, скоро увянут и разлетятся по округе, а я буду собирать их своими граблями. Моя жизнь вращалась вокруг смерти.

Томеу перестал сердиться. Он вообще был отходчивый. Вид у него был слегка недовольный, так как он любил меня и был уверен, что на кладбище я долго не протяну. Он считал, что я не создан для этой работы. Не знаю, было это похвалой или порицанием, но он ошибался. Мне нужны были деньги, уругвайская копилка еще не наполнилась. И потом, мама лежала в той же земле, и теперь я пел и для нее.

Каждый день после работы Томеу зазывал меня выпить пива. Не знаю, догадывался ли он, что мне было всего шестнадцать. Хотя, знай он это, ничего бы не изменилось, я уверен. Я всегда отказывался, говоря, что меня ждет еще работа. Это была не то чтобы ложь, ведь игрой на гитаре я кое-что зарабатывал. Но на всякий случай я не уточнял, о какой работе идет речь.

Иногда на меня находило вдруг желание собрать вещи и вернуться в горы. Если честно, я все время об этом думал. Трудно было оставаться, зная, что она меня ждет. Но это было все равно что мираж: я знал, что совесть моя не успокоится, пока я не выясню, что случилось с отцом.

Каждый день я пел для покойной девушки, как и обещал ее матери. Каждый день брал гитару и играл какую-нибудь песню. В эти минуты я чувствовал особую связь с ней, что-то торжественное и необычное. Томеу был прав. В камне высекают, чтобы помнить. И я навсегда запомнил ее надпись:

Кармен Форт Каналс

12 апреля 1920 – 9 сентября 1938

Несмотря на свою молодость, бедняжка Кармен не жила. Она была больна и слаба, а жизнь, о которой она мечтала, проходила за окнами. Меня осенило, что я был частью этой жизни. Важной частью, если верить ее матери. Надо же, мы и не догадываемся, что значим для чужих людей, не знаем, что люди берут от нас и что мы берем от них. Если бы я знал, я взглянул бы на ее окно и помахал. Когда столь малый жест значит столь многое, он становится почти обязательным, словно долг перед самим собой. Но как я мог помахать ей, если всегда смотрел на башмаки? Я утешал себя мыслью, что воплощал мечты девушки, сидевшей у окна двумя этажами выше и грезившей о том, чтобы летать.

Допев и разволновавшись более, чем готов был признать, я шел по кладбищу. Ничего не хотелось. Такое часто со мной бывало. Закончив петь, я чувствовал в себе пустоту, которую необходимо было заполнить. Чувство было неприятное, как не была “приятной” и моя музыка. Она была честной, мучительной, глубокой и очень-очень личной. Настолько личной, что трогала каждого. Так выходило само. Я лишь жаждал облегчения, жаждал докричаться до мира, выразить себя – тем единственным способом, которым умел. Единственным действенным способом. Честнее всего я бывал в те минуты, когда держал в руках гитару.

Я дошел до северной окраины кладбища, ближайшей к лесу, где высился небольшой холм, с которого был виден порт Барселоны и часть города. Я любил наблюдать портовую жизнь, мечтая подняться на борт одного из этих стальных гигантов и уплыть далеко-далеко. Желательно в Уругвай.

Я любил пасмурные дни, потому что все казалось более настоящим, а синее море превращалось в беспокойную массу. Море... Хлоя грезил о нем, а я едва его замечал. Мне казалось, что о нем слишком много говорят. Поэты и музыканты называли его чудесным и волшебным, сам капитан Немо чтит его и шел по нему, как по тысяче жизней – или по двадцати тысячам. Но было ли море подлинным? Оно обладало характером, страстью, силой, крушившей самые суровые скалы, но цвет его – лишь отражение света, пробивающегося сквозь облака. Его волнения объяснялись силой ветра, а загадки – капризами луны. Холодным оно было потому, что начинались снегопады, а теплым – благодаря летнему солнцу. Какова природа самого моря? Может, она заключается в способности проявлять сущность окружающих предметов? Не таков ли был и я? Все мы? Сложное и неизменное сочетание причин и следствий, делающих нас такими, какие мы есть? Нет, я не был подобен морю. Я поклялся, что не отдамся на волю волн. Не жизнь меня изменит, а я изменю жизнь. Просто потому, что мне это по силам.

Взволнованный этими дурацкими мыслями, я поднялся на пригорок и спустился с другой стороны. Я прежде не бывал здесь, густые заросли кустарника свидетельствовали о том, что и никто не бывал. Я пошел дальше, пока не наткнулся на знакомые грибы. Это были ложные *соплюшки*. То есть очень ядовитые. Хлоя утверждала, что они растут только в Пиренеях и только на определенной высоте. Хотел бы я показать их госпоже всезнайке, чтобы она убедилась, насколько ошибается!

Я двинулся вдоль грибницы и дошел до группки покосившихся памятников. Похоже, они были очень старыми, потому что их растрескавшиеся плиты были непривычно низкими, доходя мне от силы до колена. А из-за их удаленности казалось, что они не имеют к кладбищу никакого отношения.

Буйная растительность и обвивший камни плющ прятала от взора имена. Я расчистил ближайший памятник, но на нем не было ни единой надписи. Камень был чист. Ни имени, ни даты...

Мне сделалось не по себе. Не столько из-за могил, сколько из-за самого места, от которого волосы на затылке вставали дыбом. Еще не пробил полдень, но в этом тенистом углу, казалось, царил ночь. Я отодрал плющ от двух других памятников, но и на них ничего не увидел. Мне стало любопытно, я убеждал себя, что бояться глупо. Эта робость была скорее

свойственна тому мальчишке, каким я был до войны. Но тут порыв ветра взвихрил опавшие листья, и я понял, что в конечном итоге новый я не очень-то отличаюсь от себя старого. Пристыженный, я торопливо сбежал из этого пугающего места.

Если кто и знал кладбище как свои пять пальцев, так это Томеу. Конечно, придется ему объяснять, почему я оказался так далеко от своих участков, но мне никак не удалось выкинуть из головы эти загадочные безымянные захоронения. Так что на следующий день, когда мы рядом копали могилы, я спросил его.

– И какого черта ты туда поперся? – Я знал, что это будет первое, что он скажет.

– Живот прихватило не на шутку, я боялся, что меня кто-нибудь увидит рядом с могилами.

Томеу продолжал кидать лопатой землю, и я тоже. Солнце припекало, у меня начинали ныть руки.

– Почему они так далеко от других?

– Потому что так надо.

– Ты их выкопал? – Я уже привык говорить Томеу “ты”, хотя иногда и выкал, желая позлить его. Особенно если он называл меня Гумбертом.

– Мало кто о них знает. А я поклялся хранить секрет, – добавил он с гордостью, постепенно исчезая под землей и продолжая копать.

– Какой секрет? Из-за которого там нет надписей?

– Так точно.

– Но кто там лежит?

– Ладно, наверное, пора кому-нибудь узнать... И логично, если это будешь ты, уж коли ты единственный, кто их видел, ну или, по крайней мере, кто о них спросил.

– Узнать что? – Я был страшно заинтригован, хотя надо было знать Томеу: все могло оказаться сплошным бредом, подпитываемым одними фантазиями.

– Если я расскажу... Ты обещаешь хранить тайну?

– Обещаю.

– Хорошо, – вздохнул он. – Индейцы.

– Индейцы? – вырвалось у меня чуть ли не насмешливо, хотя я не хотел обидеть старика.

– Да, индейцы. Краснокожие. Которые с перьями. Дикари, с луками и стрелами. Индейцы, – нетерпеливо, как обычно, пояснил он.

– И как они здесь оказались? Верхом прискакали?

Томеу улыбнулся шутке, но я понял, что тема для него серьезная: он опустил лопату, вылез из могилы, сел и принялся раскуривать свою костяную трубку. Это означало перерыв, так что я тоже прекратил копать и сел рядом с ним.

– Уж лет пятьдесят минуло с того злополучного дня...

– Почему злополучного?

Томеу фыркнул и раздраженно посмотрел на меня:

– Ты дашь мне слово сказать или будешь задавать свои дурацкие вопросы?

– Прости...

– Уж лет пятьдесят минуло с того злополучного дня. Это было в начале 1890 года. Может, даже еще в восемьдесят девятом. Мне было лет семнадцать-восемнадцать. Я был взволнован, приехал знаменитый цирк, весь город ждал представления. До сих пор помню афишу: “Дикий Запад Буффало Билла”, вход – 1 песета¹². Говорили, что приехало больше двухсот ковбоев и индейцев, все на лошадях и в костюмах, а всего в представлении задействовано больше тысячи человек.

– Это я понимаю – монументальный спектакль...

¹² Денежная единица Испании, бывшая в ходу до 2002 г.

– Так точно. В общем, у меня было два билета, я хотел пойти с подружкой. Со своей ненаглядной Макареной. Я всю жизнь бредил индейцами и ковбоями, и вот выдался случай увидеть их вживую. И даже познакомиться с самим Буффало Биллом. К сожалению, мне не суждено было повстречать Сидящего Быка – сказали, не смог приехать из-за проблем со здоровьем. Вот это была засада.

– Кто не смог приехать? – спросил я с улыбкой.

– Сидящий Бык. Самый знаменитый и могущественный вождь.

– Я думал, самый знаменитый и могущественный – это Буффало Билл.

– Что ты несешь, парень. Буффало Билл был американцем, белым. Он был солдатом. Его настоящее имя – Уильям Коди, – сказал Томеу с детской гордостью.

– А почему его так звали?

– Ты хочешь узнать, почему его так звали или откуда там эти проклятые могилы?!

– Давай про могилы, про могилы...

На Томеу порой находили приступы безобидной ярости, он краснел, затягивался трубкой три-четыре раза подряд, потом успокаивался. Он смахивал на американские горки. Иногда было весело, иногда начинало тошнить.

– Большая часть трупы поселилась на улице Мунтане, чуть ниже проспекта Диагонал. Знаешь бар “Велодром”?

– Так точно. – Я знал: Томеу нравится, когда я говорю его словечками.

– Раньше там была огромная площадка, даже в футбол играли. Хотя и потом играли. Часто. “Барселона” там играла, хотя позже, когда они начали выигрывать, пришлось переехать, трибуны стали маловаты. Тогда построили стадион на проспекте Лес-Кортс и... О чем это мы?

– Об индейцах, – терпеливо напомнил я.

– Ах да. Индейцы разместились там, а горожане, хотя толпами собирались на них посмотреть, относились к ним с недоверием. Говорили, что это настоящие дикари, которые даже едят людей. Помню, через неделю после их приезда в том районе пропали две девочки, было много шума. Пришлось вмешаться самому Буффало Биллу, чтобы убедить людей, что девочек не могли съесть, но без происшествий не обошлось: нескольких индейцев арестовали, а двоих убили во время беспорядков. Дикий Запад переместился в Дикую Испанию. После этого Буффало Билл решил, что лучше отменить представление в Барселоне и продолжить турне по Европе. Наверное, не очень ему тут у нас понравилось.

– А представь, он бы сейчас приехал...

Томеу снова посмеялся шутке, откашлялся – дым попал ему в легкие – и продолжил:

– Ну а я был очень разочарован, узнав, что они уезжают.

– А с девочками-то что?

– С девочками? А, да. Ничего. Они спрятались, хотели подшутить над родителями. Через пару часов вернулись, и индейцев пришлось отпустить.

– А причем тут могилы?

– Буффало Биллу пришлось отложить отъезд цирка из-за вспышки то ли гриппа, то ли холеры. Я всегда считал, что это был грипп. Индейцы не были готовы к встрече со старушкой Европой и местными болезнями. Их просто косило. Поэтому всех посадили на карантин, чтобы зараза не распространилась. В общем, двенадцать человек умерли и были похоронены на этом кладбище.

– Двенадцать? Но памятников тринадцать.

– Нет, умерли двенадцать.

– А тринадцатый памятник?

– Всё по порядку! – Томеу поцокал языком. – Люди считали их язычниками и требовали похоронить подальше от остальных могил.

– А почему на памятниках нет надписей?

- Ни дат, ни имен, ничегошеньки. И проститься с ними тоже никто не пришел. Даже соплеменники, представляешь? – Томеу развел руками.
- Наверное, у них свои обычаи.
- Да, конечно. Наверняка. – Старик с трудом встал. – Хотя ты и не поверишь, но Томеу не все на свете знает. Давай, пора заканчивать, поздно уже. Пропустим потом по рюмочке?
- А что с тринадцатой могилой?
- Ах да. – Томеу вздохнул и снова сел. – Видишь ли, среди этих заболевших и умерших индейцев был один особенный человек. Про которого говорили, что он не приехал из-за проблем со здоровьем.
- Сидящий Бык?
- Откуда ты знаешь? – испуганно и удивленно воскликнул Томеу.
- Ты сам сказал раньше.
- Правда? – Томеу был сбит с толку. Он очевидно сдавал.
- Так точно.
- Черт, испортил эффектную концовку...
- Сидящий Бык похоронен здесь, в Барселоне?
- Это навсегда мои первые два метра... Я только пришел работать на кладбище, а поскольку никто в здравом уме не хотел хоронить этих язычников, дело поручили мне, новенькому. Кроме того, все боялись подцепить какую-нибудь редкостную болезнь, хотя сами индейцы, бедняги, от нас и заразились. Я думаю, это был грипп, потому что они не привы...
- Да, да, это ты уже рассказывал.
- Правда? А что я не рассказывал?
- Тебе велели копать им могилы, – подсказал я, набравшись терпения.
- Ах да. Была зима, времени шесть вечера – и уже стемнело. Я копал, и вдруг пришел какой-то белый в сопровождении трех индейцев. Оказалось, Буффало Билл. Я глазам своим не верил. Сам Буффало Билл пришел говорить со мной! От имени индейцев он попросил меня расположить могилы полумесяцем. Видимо, таков их обычай. И затем доверил мне величайшую тайну. Сидящего Быка следовало похоронить там же. Он умер двумя днями раньше, невозможно было сохранить его тело до возвращения в Америку, ведь им предстояло еще европейское турне. Буффало Билл попросил меня сохранить все в тайне, чтобы не привлекать мародеров.
- Мародеров?
- Кладбищенских воров. Некоторые народы погребают покойников вместе с имуществом. А Сидящий Бык был человеком... влиятельным. Думаю, с ним положили все самое ценное из его сокровищ.
- А ты не видел?
- Меня и близко не подпустили. Я только выкопал могилы, как мне сказали, и ушел.
- То есть ты на самом деле не видел, как их хоронили.
- Ни я не видел, ни кто-либо другой. Даже люди из племени. Как я уже сказал, там был только Буффало Билл и еще трое индейцев – жрецы или вроде того. Провели какую-то церемонию и всех закопали. Да, а перед уходом они вручили мне нож Сидящего Быка и дали мне имя: Верный Страж Сна.
- Ничего себе! Нож до сих пор у тебя?
- Конечно, – сказал Томеу почти с обидой, – хотя я его не заслуживаю.
- Почему?
- Потому что я не справился. – Старик опустил голову от горечи, а может быть, от стыда. – Не знаю, как это случилось, но случилось.
- Что случилось? – Я разве что ногти не грыз от нетерпения.
- Могилу раскопали. Через несколько месяцев.

– Кто?

– Не знаю. Всего пять человек, включая меня, знали, где они похоронены. Очевидно, это был не я. Но того, кто это сделал, интересовала лишь одна могила. Он прекрасно знал, где лежит Сидящий Бык. Только его могилу раскопали.

– И что ты там увидел?

– Кости. Только кости. Остальное украли. Что бы там ни было. Но наверняка что-то очень ценное, раз человек выжидал несколько месяцев.

– Думаешь, это был Буффало Билл?

– Нет. Буффало Билл к другу своему относился с уважением. Он все устроил. На прощанье пожал мне руку и в благодарность подарил трубку. – Томеу поднял свой трофей.

– Это трубка Буффало Билла?

– Пятьдесят лет назад была его, да.

– Тогда кто-то из индейцев. Один из этих трех.

– Не знаю. Уже неважно. Это было... полвека назад. Боже, неужели я такой старый?

– И ты никогда никому про это не рассказывал?

– Никогда и никому. До сегодняшнего дня.

– Вот это да. И тебе не хотелось узнать, что там случилось?

– Зачем? Что мне было за дело? Нарушать данное слово, затевать эксгумацию... Чепуха. Зачем усложнять себе жизнь?

– Кладбищенский вор... – прошептал я, зачарованный услышанным.

– Ладно... – сказал Томеу, вставая и давая понять, что разговор окончен. – Пойдем пропустим по рюмочке?

– Мне шестнадцать лет, Томеу.

– А мне почти семьдесят. Одно уравнивает другое.

Думаю, Томеу был так же одинок, как и я. Как и многие в то время. За неимением еды многие увлекались выпивкой и тратили на нее те гроши, что удавалось заработать.

В их числе был даже Верный Страж Сна Сидящего Быка.

7. Эммет, ростовщик

Вечерами я искал новые места, где бы приткнуться с гитарой. Играть перед незнакомой публикой было проще.

Обычно я бродил в окрестностях проспекта Параллел. Там всегда бурлила жизнь, заведения были полны. Самым знаменитым было кабаре “Красная мельница”. Хотя потом слово “красная” убрали: от упоминания этого цвета у некоторых прямо зуд начинался. Война стискивала людей своей огромной рукой, и все только и думали, как бы выскользнуть, забыться в атмосфере праздника – в театре, в кино, в публичном доме и так далее. Кто поставил бы им это в вину? Все мы стремились откуда-то сбежать, а красивые ножки всегда помогали перенестись в другой мир, – меня, правда, не пускали дальше порога.

К сожалению, я не просто был молод, я еще и выглядел молодо, так что двери кабаре для меня были закрыты. Полагаю, что мой наряд, неотличимый от нищенского, тоже играл свою роль. Меня воспринимали как сорванца, который только и думает, как бы заглянуть кому-нибудь в декольте. Верно. Но верно и то, что мне до смерти хотелось выступать в одном из этих заведений. Говорили, что Параллел – это сцена Барселоны, и хотя многие шли сюда за более пикантными удовольствиями, немало было тех, кого интересовали новые артистические дарования – танцовщицы, музыканты, певцы.

Едва я сел на углу у кинотеатра, где как раз показывали какой-то республиканский фильм, и заиграл, как увидел на другой стороне улицы знакомый силуэт. Торчащие во все стороны волосы, тощая фигура, вальяжная походка... Я почувствовал, что закипаю. Одним прыжком я вскочил на ноги, подхватил пустую кепку и забросил гитару за плечо – пару месяцев назад я приделал к ней нечто вроде ремня из старой простыни, чтобы удобнее было носить. Я перебежал улицу, надвинул кепку на глаза и решил пока идти за ним до какого-нибудь менее людного места. Когда ты в городе один, а вокруг война, нужно уметь постоять за себя, причем желательно не с голыми руками. Я всегда носил в кармане нож. Точнее, тупой ножик, завалявшийся в одном из кухонных ящиков, но в данном случае это было неважно: ножик был маленький, удобный, а его острием легко можно было выбить глаз. Я уже пару раз выхватывал его, когда какой-нибудь пьяный бродяга пытался украсть у меня кепку с деньгами.

Я сунул руки в карманы, чтобы чувствовать пальцами холодный металл. Я держался на безопасном расстоянии и старался оставаться незамеченным, памятуя, насколько он был проворен в день побега из приюта. Сегодня ему не уйти. Я шел и вспоминал, как после того, как меня избили, я несколько недель едва мог выйти из дома. Испуганно озирался, молился, чтобы снова не встретить тех подонков. Потом чувства мои переменялись. Я стал оглядываться, желая повстречать кого-нибудь из них и расквитаться. Спустя несколько месяцев я отчаялся отмстить, но месть похожа на любовь: стоит опустить руки и прекратить поиски, как она сама стучится в дверь.

В тот вечер я чувствовал себя охотником, преследующим дичь. Негодяй, вор, обманувший меня и выставивший идиотом, наконец попался. Да, длинную тень, за которой я шел по пятам, отбрасывал Полито.

Я видел, что в толпе он нарочно натывается на прохожих и обшаривает их карманы. Мерзавец был хорош: меньше чем за три квартала стянул четыре бумажника, перед ним еще и извинялись. Он доставал бумажники, открывал, проверял содержимое и бросал на тротуар прямо мне под ноги. Я не нагибался за ними, уверенный, что ничего ценного там уже нет. И потом, мне хотелось лишь утолить жажду мести.

Я следовал за Полито более получаса. Кварталы становились все беднее, на пути встречались бездомные, привалившиеся к переполненным мусорным бакам или устроившие себе укрытия из картонок. Вечерело, тени удлинялись.

Полито остановился на тротуаре возле женщины, стоявшей на коленях с табличкой в руках – надпись я не разобрал. Это был мой шанс. Вокруг никого не было, не считая каких-то бродяг, занятых своими делами.

Я крадучись вышел из-за угла и встал поодаль за спиной у Полито. Тот не обратил на меня внимания, занятый разговором с изможденной нищенкой, и тут я остолбенел. Презренный карманник, мошенник, обманувший меня, обворовавший и заманивший в лапы негодяев, доставал из карманов только что украденные деньги, чтобы отдать этой несчастной.

– Ты ангел, Полито, – повторяла та, всхлипывая.

– Я приду еще, как только смогу. Берегите себя.

Женщина кивнула, а я поспешил спрятаться, пока она меня не увидела. Полито зашагал дальше, я – за ним.

Когда я поравнялся с нищенкой, она попросила милостыню. Я ничего не дал, но невольно прочитал надпись, нацарапанную на куске картона, который она держала в руках: “Продаю детские ботиночки, совсем не ношенные”. Кто станет продавать ботинки своего ребенка? Почему не ношенные? Достаточно было перестать гадать и заглянуть ей в глаза. Что-то во мне перевернулось... Бедная женщина. Но... при чем здесь Полито?

Я ускорил шаг, чтобы не упустить его, хотя вся злость, копившаяся во мне квартал за кварталом, улица за улицей, вдруг растворилась в глазах этой женщины. Минутой раньше я готов был глотку ему перерезать, попадись он мне, но теперь...

Я уже хотел было развернуться и уйти, как снова вспомнил его дружков, разбитую в щепы гитару, ночи, когда я от боли не мог повернуться, а прежде всего – украденный медальон. Мысль о медальоне возродила всю мою ненависть. У меня забрали единственное, с чем я не готов был расстаться. Мышцы снова напряглись, взгляд стал острым, как у хищника.

Я догонял его. Полито насвистывал дурацкую песенку и не слышал моих шагов. Улица была узкой и пустынной, но вскоре начиналась другая, шире и оживленнее. Полито остановился у витрины магазинчика игрушек, и я понял, что пора. Я подкрался, как кошка, и, не дав ему опомниться, приставил к горлу нож.

– Не дергайся. – Даже голос у меня прозвучал как-то по-бандитски.

– Что тебе? Я пуст, приятель. Кто ты?

Я чувствовал его страх, слышал дрожь в каждом слове. Ухватив Полито за лацкан, я слегка повернул его к себе.

– Черт... Мы знакомы? Стой... Гитарист?

– Больше ничего не хочешь мне сказать, пока я тебя не зарезал, как свинью?

– Тихо, тихо, парень... Спокойно. Я все объясню.

– Думаю, я и так все понял. “Я помог тебе, ты поможешь мне” и все такое, да?

– Слушай, ты не понял. Эти ребята, они ублюдки... Я был им должен, и...

– Отлично, теперь ты должен мне.

– Черт, приятель, я уже всё. Порвал с ними.

– А я был прощальным подарком? – Я прижал нож к его шее.

– Слушай...

– Где он?

– Кто?

– Мой медальон!

– Откуда я знаю. Ты сам видел, я раньше ушел...

– Где он? – Под лезвием ножа выступили капельки крови.

– Ох! Ладно, ладно. Я вспомнил. Честно. Эти ребята всегда все несут одному человеку.

Я тебе рассказывал.

– Ростовщик...

– Да, Эммет. Я могу тебя отвести, но...

– Пошел! И имей в виду: ты можешь сбежать, но завтра, через месяц или через год я опять приставлю нож к твоей глотке и уже не буду ничего спрашивать, клянусь.

– Слушай, какой ты злощий... Я усек. Лады, приятель. Спокойно. Не сбегу.

По правде говоря, не знаю, кто из нас больше нервничал. Я посмотрел на свою руку, сжимавшую нож, – она дрожала, как желе. Я отдернул ее, ужаснувшись самому себе.

Пройдя полгорода, мы оказались в средней части бульвара Рамблас. Перешли на другую сторону и продолжали путь, пока не оказались перед неприметной деревянной дверью, на которой висела полусгнившая табличка с надписью “Эммет”.

– Это здесь.

– Так входи. И если врешь, я клянусь, что...

– Я не вру, а нож лучше спрячь.

– Ну-ну.

– Слушай, я серьезно. Старик – та еще пройда. Не вздумай обманывать его, он хитрый лис. И всегда держит оружие под прилавком.

Я посмотрел на Полито с недоверием:

– Ты обо мне беспокоишься?

– Старику сто лет в обед, он слеп как крот, руки у него трясутся. Даже если он прицелится в тебя, вероятнее всего, башку снесет мне. Неохота помирать из-за твоего медальона.

Я толкнул дверь, нервно звякнул колокольчик. Открылся узкий проход между двумя уходящими в потолок высоченными стеллажами, заваленными всем подряд. Лавка ростовщика была такой крохотной и тесной, что оставалось только диву даваться, как все это в ней помещается. Прежде всего в глаза бросались старые книги. Огромные, каких я раньше не видел.

Мы дошли до конца коридора. В глубине, за изъеденным жучками прилавком, сгорбленный старик вертел перед моноклем перстень. Затем он попробовал его на зуб, словно хотел окончательно удостовериться в качестве, и спрятал в деревянную шкатулку. После чего прикусил желтым зубом очередное кольцо и, по-видимому, остался недоволен, потому что бросил его в другую шкатулку, к безделушкам.

– Вечер добрый, – сказал Полито, когда мы подошли к прилавку почти вплотную.

Эммет с любопытством взглянул на нас:

– Так-так-так... Кто к нам пожаловал! – Голос у старика был такой же скрипучий, как полки стеллажей в его лавчонке. В таком месте достаточно искры, и все сгорит быстрее, чем волосок в печи. – Давненько не видались, друг Полито!

– Занят был.

– Не-е-е... не верю. Опять попался, а?

Я сделал шаг вперед, чтобы старик меня заметил. Я не болтать пришел. Эммет что-то смекнул и, оглядев меня с головы до ног и составив себе впечатление, снова обратился к Полито:

– Чего вам?

– Я пришел забрать свое, – сказал я.

– Не-е-е... Приятель твой? – На меня он даже не взглянул. Как будто Полито был один.

– Твои ребята забрали у него медальон, который ему, похоже, дороже жизни.

Старик раскрыл глаза от удивления, но тут же взял себя в руки.

– Это так? – наконец обратился он ко мне.

– Да.

– Так-так-так... Мальчик с монетой...

– Это медальон. Он у вас?

– Ого. Он со мной на “вы”, – язвительно отозвался тот. – Дай-ка угадаю. Сирота? Из хорошей семьи? Видел жизнь в розовом свете, а теперь приходится изучать остальные оттенки, а? – Смех у него был ломкий и скрипучий, точно несмазанная дверь.

– Вы ничего обо мне не знаете.

– Ошибаешься. Я знаю, что ты ищешь монету и готов на все, лишь бы вернуть ее, так?

– У вас она или не у вас?

– У меня, – признал он просто.

Молчание расплзлось, как его тонкие губы.

– Так верните.

– Послушай, мальчик. Ты на вид неглупый, так что, наверное, поймешь: это магазин.

Здесь никто никому ничего не дарит. Здесь покупают и продают.

– Вернуть чужое – это не подарок.

– Не-е-е... совсем наоборот. Я за этот медальон заплатил неким очаровательным юношам кругленькую сумму. А ты что дашь?

– Что вы хотите?

– Мне нравится твой новый приятель, Поли. Смотри, мальчик, я не вор, и если ты поклянешься, что медальон и правда был твоим...

– Он мой, – отчеканил я.

– ...я сделаю исключение и продам его по той же цене, по какой купил.

Краем глаза я видел, что Полито еле заметно отрицательно качает головой.

– Сколько?

– Пятьсот песет.

– Вы с ума сошли! У меня столько нет...

– Ну тогда ничем не могу помочь.

Он снова улыбнулся своей отвратительной улыбкой. Я в ярости обрушил кулак на прилавок. Эхо еще не стихло, как Эммет извлек откуда-то дробовик с отпиленным стволом и безмятежно направил на меня:

– Прошу. Хочешь еще постучать?

– Тихо, тихо, – вмешался Полито.

– Не-е-е... Скажи своему приятелю, чтобы убирался, а не то в голове у него будет дырка размером с тот самый медальон.

– Мы вернемся с деньгами. А ты держи медальон наготове, – примирительно сказал Полито.

– Еще бы вам не вернуться.

Мне хотелось перемахнуть через прилавок и стереть улыбку с его тощей морщинистой рожи.

– Идем. – Полито взял меня за локоть и повел к выходу.

– Послушай, мальчик... – Эммет пытался выглядеть равнодушным, – где ты его нашел?

Полито знаками умолял меня молчать. Старик явно провоцировал меня, но я знал, что рано или поздно верну медальон себе; я уже выяснил, кто его прячет. Поэтому повернулся и улыбнулся как можно более жутко:

– Я убил его владельца.

Мгновение мы мерили друг друга взглядами. Затем звякнул колокольчик, и я вышел из магазина.

Уже на улице у меня сдали нервы, но Полито встряхнул меня. Он не злился, скорее беспокоился.

– Черт подери. Я же сказал. Со стариком шутки плохи.

– А что мне было делать?

– Он понимает, что у тебя нет денег.

– Я раздобуду! Столько, сколько надо, чтобы выкупить медальон!

– Не в этом дело... – Я видел, что Полито хмурится. Он обдумывал каждое свое слово, от этого я нервничал еще больше.

- Почему?! Почему не в этом дело?!
- Потому что он тебе его не продаст.
- Если ты должен что-то рассказать мне, самое время.
- Нет, не совсем... Просто... когда его у тебя украли, через пару дней... – Он с трудом подбирает слова.
- Когда меня избили твои дружки, – добавил я.
- Это не мои дружки! Я уже сказал! – Он бросил на меня такой злой взгляд, что я готов был поверить.
- Так что же случилось потом? – попытался я сгладить свою предыдущую реплику.
- Они пришли ко мне и расспрашивали о тебе. Хотели все знать. Как мы познакомились, где я тебя нашел, откуда ты взялся... Я сказал, что ничего не знаю, что и тебя толком не знаю. Они сказали, что старик, увидев медальон, как с ума сошел. Стал как одержимый, понимаешь?
- Одержимый?
- Да будто свихнулся, черт. Стал визжать и размахивать руками, как узнал, что они бросили тебя на улице, отправил их обратно, но ты уже исчез. Он объявил за тебя вознаграждение, как за беглого преступника.
- Поэтому ты меня отвел? Чтобы подзаработать?
- Слушай, это все уже меня не касается, ясно? И позволь напомнить: это ты ко мне пристал с ножом к горлу, в буквальном смысле!
- Не понимаю. Если медальон уже у него... что еще ему нужно?
- Сведения. Все, что с ним связано, – устало сказал Полито. – Я же говорю, он как с ума сошел. Ищет ответы в старых книгах.
- В книгах?
- Так мне ребята сказали, но я бы не слишком верил. Сомневаюсь, что они в курсе, о чем речь.
- Не понимаю... Если он так хотел найти меня, почему дал уйти?
- Черт, ты серьезно? Жаль, что ты себя там внутри не видел.
- Он знает, что я вернусь, – ответил я на свой вопрос.
- Он тебя просек, приятель. И так просто не отпустит. Эммет никогда не играет в открытую. Он так все обстряпает, что ты будешь чувствовать себя обязанным. На твоём месте я бы ушел и не возвращался. Еще не поздно.
- Но ты – это не я. Я не отступлюсь.
- Очевидно, Полито знал, о чем говорит, но у меня были свои планы.
- Ну тогда имей в виду, что ничем хорошим для тебя это не закончится.
- Какое-то время мы шли молча, возвращаясь той же дорогой, которой пришли. Полито снова стал насвистывать свою дурацкую песенку.
- Зачем вор дарит деньги нищенке?
- Что? Какой нищенке?
- Той, что продает детские ботиночки.
- Как ты узнал? – Судя по выражению лица, он сразу все понял, но не очень-то хотел говорить на эту тему. – Долгая история...
- Я весь внимание.
- Слушай, парень, тебе что, заняться нечем?
- Я просто хочу понять.
- Ну хотя дальше.
- Ты, кажется, забыл, что мой медальон оказался у этого прощельги по твоей вине.
- Дерьмо... – Полито сердито сплюнул, хотя сердился скорее на себя, чем на меня. – Просто женщина, усек? Ты сам сказал: нищенка. И все.
- Что-то не верится.

– Твои проблемы.

– А почему она продает детские ботиночки?

– Черт. Сам-то как думаешь?

– Потому что... ребенка нет?

Полито скривился: придется объяснять... Хотя ему очевидно не хотелось.

– Она была монашкой, ясно? Работала в приюте. Там мы и познакомились. Несколько лет назад. Она была из хороших, знаешь? Не ведьма, как другие. Эта была ласковая и веселая. Веселая монашка, прикинь?

– И что с ней случилось? – спросил я, рискуя сбить его с мысли.

– Я уже был не в приюте. Она тоже. Вернулась в свой монастырь, знаешь? Пару лет назад, как раз когда эти мерзавцы стали жечь монастыри и убивать монахов и священников. Анти-церковный разгул.

– У нас в районе из церкви повыкидывали на улицу открытые гробы...

– Я видел, как людей вешают, приятель... Вешали прямо на входе в церковь. Черт, я никогда не был сильно религиозным, но это было чистое зверство.

– И что с ней?

– Выволокли всех из монастыря, священника убили, монашек изнасиловали.

– Господи...

– Господи, вот именно... Молишься всю жизнь, а потом, когда тебя мучают и убивают, помощи с небес не дождешься.

– Ее тоже изнасиловали?

– Да. И бросили полумертвую на улице. Потом, оклемавшись немного, она пошла к своим, но ее уже не взяли обратно. Выгнали из монастыря. Даже слушать не стали.

– Почему? Из-за того, что с ней произошло?

– Из-за того что она была беременна.

– Вот дерьмо...

– С животом и на улице. Вот так с ней обошлись свои же. Мерзавцы. Помогают всем подряд и не могут помочь своим. Тогда-то я ее и встретил. День был паршивый, лило как из ведра, она пряталась под какой-то картонкой, вся дрожала. Она меня первая узнала. Черт, клянусь, я бы двадцать раз прошел мимо и у меня мысли бы не было, что это она. Так что я взял ее к себе, нашел местечко получше. Не дворец, конечно, но сухо, и теплее, чем под картонкой. Потом я узнал про беременность, предложил ей помочь с этим, но она отказалась наотрез. Она бы лучше сама умерла, но на это у нее духу не хватало, сечешь?

– Если веришь в Бога, самоубийство – большой грех, сразу в ад или что-то такое.

– Не знаю... Потому что ребенка от этого козла, насильника, она не хотела, а избавиться не могла.

От этой истории мне стало физически плохо. Я разных ужасов насмотрелся в последние месяцы, но рассказ Полито прямо жег меня изнутри, так что задавать следующий вопрос было страшно:

– А потом?

– Про нее стали говорить, история дошла до богатенькой пары, они ко мне и заявились. Выглядели так, будто даже не в курсе, что где-то какая-то война, понимаешь? Такие, будто все как раньше. Хотели взять ее служанкой, давали крышу над головой, еду.

– Есть еще в мире добрые люди...

– Не такие уж и добрые. Поставили условие, что когда она родит, то отдаст ребенка им, будто это их ребенок.

– Seriously? Она согласилась?

– А что ей было делать? Она говорила, что Бог услышал ее молитвы, что это лучший выход. Переехала в их богатый район, к ним в особняк. Но когда ребенок родился, все измени-

лось. Хозяевам стало неуютно от того, что настоящая мать шастает у них по дому, а ей трудно было делать вид, что она к ребенку не имеет отношения. Ее вышвырнули на улицу как собаку, а ребенка оставили себе.

Я погрузился в рассказ Полито, как в готический роман. Драматический и жестокий. Без надежды на счастливый конец.

– А почему она на них не заявила или что-нибудь такое?

– Она пыталась. Ходила в полицию, но... что может бродяжка против одной из самых богатых семей в городе?

– Ничего, я думаю.

– Она вернулась на улицу в надежде скоро умереть, угаснуть тихо, но с достоинством. Обмануть Бога, вроде того. Собственно, этим она сейчас и занимается. А я что? Стараюсь поддерживать ее как могу, хотя не знаю, услугу ей оказываю или наоборот.

– Ты делаешь то, что должен.

– Я знаю, что однажды приду и найду только брошенную картонку.

– Но ты хотя бы будешь знать, что сделал все, что мог.

– Знаешь, что я действительно сделал? – прошептал он, наклонившись ко мне. – Сжег их чертов дворец. Дождался, пока уедут на лето, залез, взял кое-что, а потом поджег. Горело от фундамента до самой крыши. Что-то я продал Эммету, а он перепродал. В полиции вышли на некоторые вещи, опознали как краденые. Добрались до старика, я оказался под подозрением. Потому я тогда и уехал из Барселоны. Думаю, хозяева еще немного сердятся за то, что я превратил их особняк в горстку пепла.

– Я рад, что ты это сделал.

Мы шагали молча, если не считать песенки, которую снова принялся насвистывать Полито. Я размышлял над услышанным.

– А скажи мне вот что, – спросил я наконец, – почему ты не бросишь работать на этого ростовщика?

Судя по выражению лица Полито, я застал его врасплох. Он задумался на несколько секунд.

– На что ты готов, чтобы выжить?

– На все, – ответил я.

По его глазам я понял, что такого ответа он и ожидал.

Тощему карманнику больше нечего было сказать мне, так что на ближайшем перекрестке он свернул и пошел прочь, пиная камешек, подскакивавший на мостовой. Да, я ненавидел его всем сердцем, но, увидев, что он уходит, почувствовал себя неожиданно одиноким. Может быть, он почувствовал то же самое, потому что вдруг развернулся, словно забыл задать важный вопрос. Улыбнувшись, он ткнул пальцем в мою гитару:

– Слушай, где ты обычно играешь?

8. Новый друг

Зима вошла в город с демонстративной жестокостью. Какая наивность. Будто растягивавшее дни солнце сильно облегчало нашу жизнь. Холод проникал в дома, и пока одни боролись, чтобы продержаться еще зиму, другие сдавались, понимая, что не доживут до весны.

Снова близилось Рождество, но песен не слышалось. Не было ни подарков, ни елок с огоньками, ни семейных обедов. Единственное изменение за последний год состояло в том, что всего стало еще меньше. Особенно оптимизма.

Война, казалось, никогда не закончится. Представляю, как были обескуражены те, кто предрекал ей конец через две недели после начала. Глупцы... Папа всегда повторял: если сам не понимаешь, что говоришь, то лучше молчи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.